ЮРИЙ ОДАРЧЕНКО

СТИХИ И ПРОЗА



XX век

Юрий Одарченко

СТИХИ И ПРОЗА



Ю.П.Одарченко (1903-1960).

ЮРИЙ ОДАРЧЕНКО

СТИХИ И ПРОЗА

Вступительная статья К.Померанцева
Подготовка текста и примечания В.Бетаки

La Presse Libre
Paris

Titre original en russe:

Jury Odartchenko
STIKHI I PROZA

ISBN 2-904228-11-X

Imprimé en France.



Поэт Георгий Раевский и Юрий Одарченко.
Париж, 1954



Георгий Раевский и Юрий Одарченко. Париж, 1954.



Париж, 1959.



Париж, 1960.

ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ ОДАРЧЕНКО И ЕГО МИР

Поэзия — точнейшая наука.
Георгий Иванов.

Куст каких-то ядовитых роз
Я взрастил поэзии на смену.
Юрий Одарченко.

Пушкин говорил: «Слова поэта — дела его». Не думаю, чтобы это являлось универсальной истиной, но в применении к Юрию Павловичу Одарченко это было действительно так. Как нельзя предугадать, чем кончится даже самое маленькое его стихотворение, так нельзя было предвидеть, как завершится начатый разговор или встреча с ним. Он был вторым человеком (первым — свояченица Н.А.Бердяева Е.Ю.Рапп, хотя и совершенно в другом роде) из близких мне людей, который жил в двух мирах: нашем, обычном, и в мире низших духовных существ, причем так, что иногда оба мира сливались и разговор с ним становился по-настоящему страшным.

Познакомился я с Юрием Павловичем в 46-м или 47-м году (точно уж не помню) у нашего общего друга поэта Владимира Смоленского, жившего неподалеку от него. Познакомился за стаканом вина, от

которого никто из нас не отказывался. Не скажу, чтобы тогда он произвел на меня особенное впечатление: ну, человек как человек. Лишь некоторое время спустя я заметил, что он никогда не снимал своего синего берета, как на улице, так и дома. И это потому, что был лыс и своей «лысости» стеснялся, по-видимому, считая эту особенность свою неэстетичной. Хотя — и это странно — одевался он небрежно, за своим туалетом не следил, что тоже было парадоксом, потому что имел он небольшое декоративное (по шелку) ателье, делал рисунки на тканях для больших домов дамских нарядов, что по-французски называется haute couture, и на жизнь зарабатывал совсем неплохо. Он был, кроме того, настоящим (в отличие от декоратора) художником и неплохим пианистом. Талантами его Бог не обидел.

Был два раза женат, имел трех замечательных детей, а старший, «Коленька», которого он особенно любил, теперь работает главным врачом в одной из швейцарских клиник и считается одним из лучших в мире специалистов по раку. Словом, чего же еще?..

В одном из стихотворений Георгий Иванов писал: «Мне искалечил жизнь обман двойного зренья...». Юрию Одарченко — я в ь двойного зренья, точнее, д в е яви, в которых он жил: наш, обычный, повседневный мир и тот, д р у г о й. Называйте его

как хотите: потусторонний, оккультный, духовный. На языке антропософии его можно назвать миром элементарных духов, которые больше любят подшучивать над человеком, чем ему вредить. Во всяком случае, это не мир Гойи или гоголевского «Вия», но скорее пушкинского беса, который в метель «дует, плюет» на сбившегося с дороги путника и бросает в овраг его «одичалого коня». Этих «элементалов» Одарченко видел так же отчетливо, как мы видим птиц и животных, уверял, что они вовсе не страшные, и довольно талантливо изображал их на своих картинах, украшавших его комнату-ателье. Хорошо помню одну из них — «Шабаш ведьм на Лысой горе». На первом плане лежат две прелестные молодые женщины (ведьмы?), на которых пляшут пузатые зеленые чертики, тогда как с горы, служащей фоном картине, слетают столь же маленькие серые дракончики. Другая картина изображала голову недавно умершего (какого именно, уже не помню) жестокого судьи с искаженным лицом и набрасывающихся на него чертей и гномов, но уже пострашнее.

Но дело не обходилось одними картинами. Бывало и так, что сидишь на диване с Юрием Павловичем и разговариваешь с ним о каком-нибудь политическом событии, только что вышедшей книге или просто о каком-либо пустяке, а он вдруг делает

быстрый жест рукой, словно муху у вас на колене ловит.

— Что случилось?

— Да вот, опять черта на тебе хотел поймать: зеленый такой, и на тебя глаза таращил.

В «Преступлении и наказании» есть замечательный разговор Раскольникова со Свидригайловым, на который (насколько я знаю) до сих пор почему-то никто не обратил серьезного внимания:

> — Я вас не про то спросил, — верите ли вы или нет, что привидения являются. Я вас спросил: верите ли вы, что есть привидения?
>
> — Нет, ни за что не поверю, — с какой-то злобой прокричал Раскольников.
>
> — Ведь обыкновенно как говорят? — бормотал Свидригайлов... — Они говорят: ты болен, стало быть, то, что тебе представляется, есть один несуществующий бред. А ведь тут нет строгой логики. Я согласен, что привиденья являются только больным. Но ведь это только доказывает, что привиденья могут являться не иначе как больным, а не то, что их нет самих по себе.

Здесь Достоевский через Свидригайлова отвечает на вопрос, которого зараженная материализмом и фрейдизмом наука избегает или старается втиснуть в свои традиционные рамки: «Нет, ни за что не поверю!»

Лично я никогда никакими «оккультными» способностями не обладал, но людей, обладавших таковыми в той или иной мере и в той или иной области, — знал. И их было немало. Лет двадцать назад я жил в одном доме с пожилой русской женщиной, простой крестьянкой, которую приглашали в больницы, чтобы она останавливала, «заговаривая», внутренние кровотечения. По-французски она не говорила, и однажды я поехал вместе с ней. На мой вопрос: что он думает об этом — пользовавший больного врач только развел руками, а потом начал говорить о возможности влияния каких-то «специфических волн», присущих «особенностям» ее голоса.

«Особенности» природы Одарченко запечатлены в каждом его стихотворении, которые никогда не придумывались, но являлись лишь выражением его внутренней сущности. Помню дождливый ноябрьский вечер. Я зачем-то выходил и на пороге дома столкнулся со спасающимся от дождя Юрием Павловичем. Он потащил меня обратно, сообщив, что «придумал стишок», и в коридоре мне его прочел. Стихотворение кончалось так:

Медведи стали огурцами,
(Я с детства к *точности* привык) —
И повторяю: огурцами.
Многообразен наш язык.

А сколько их в соленой бочке —
Там огурцы, на них укроп.
Здесь *точность* требовала б точки,
Но огурцы, на них укроп...
Но *точность* вся в последней строчке:
Еще стоит стеклянный гроб.

Я вытаращил глаза: «Ничего не понимаю!» Одарченко искренне удивился: «Как же не понимаешь?» — и принялся объяснять. Медведи — это русские люди, всегда ими были, а большевики их еще засолили и, словно огурцы, свалили в бочку, «чтоб молчали». — «Ну, а "стеклянный гроб"?» — «И этого не понимаешь? Стеклянный гроб — мавзолей с мумией Ленина».

Основатель антропософии Рудольф Штейнер говорил, что мавзолей Ленина — средоточие темных сил, охраняющих коммунистическую власть в Советской России, ее «оккультный щит». Одарченко Штейнера не читал, а если и слышал о нем, то только от меня. Я же сам узнал об этой фразе много лет спустя, уже после смерти Юрия Павловича.

В другом стихотворении рассказывается о «старушонке», которая заметила вьющуюся над «сияющим крестом» стаю черных галок. Когда галки разместились на кресте, она их подсчитала — «тридцать девять галок». — «Почему именно тридцать

девять?» Он пожал плечами (не понимаешь что ли?): «Война-то началась в 39-м году!». Замечу сразу же: стихотворение было написано после войны, и дело отнюдь не в пророчестве. Но в чем же тогда? Я почему-то не спросил. Оно, конечно, — в ведомых лишь автору ассоциациях — «нежно-голубого неба», «сияющего креста» и «черных галок» — неожиданных, трудно уловимых, но совершенно естественных для внутреннего мира Одарченко. Недаром же он писал: «Куст каких-то ядовитых роз/Я взрастил поэзии на смену» — и мечтал расставить слова «в наилучшем и сторогом порядке», чтобы это были слова, «от которых бегут без оглядки». Надо сказать, что от некоторых его стихотворений и рассказов, возможно, без оглядки не бегут, но есть такие, от которых становится не по себе: чего-то они касаются то ли запретного, то ли недолжного, как, например, в стихотворении «Здравствуй, Стеша», где Стешу спрашивают, правда ли, что она родила сына, и она отвечает: «Да, родила». — А как назвала? — «Васенькой, Васенькой». Где же он теперь, «говорят, он был больной?» — и вдруг ответ: «Васенька, Васенька б ы л больной».

Нет ни одного его стихотворения, в котором можно было бы до последних двух-трех строк, иногда и одной, предвидеть, как или чем оно закончится.

Вот еще пример:

. . . .

Когда скопил бедняк убогий
На механические ноги,
И снова бодро зашагал,
И под трамвай опять попал.

Для Одарченко это «совершенная картинка», то есть завершённая, к которой уже нечего прибавить. И таких завершенных картинок в стихотворении четыре. Что они значат? Лишь то, что, если бы дело, как в приведенном примере, ограничилось одной покупкой «механических ног», картинка была бы не завершена, т.е. несовершенна, и описанное явление осталось бы несовершенным, не представляющим всю действительность, но лишь ее часть, и созданное ею впечатление (в данном случае бодрости «убогого бедняка») ложным. Иными словами: родился человек, помни, что родилась и твоя смерть. И еще одна иллюстрация:

Что такое — денег нет?
Отыщу знакомых,
А знакомых дома нет —
Это будет промах.

Промахнулся — не беда,
Съем в кредит и сытно,
Не поверят — вот тогда
Это будет стыдно.

Если ж вовсе не дадут
Мне без денег блюда,
Я с ума ведь не сойду
На пустой желудок.

Будет легче рассуждать
О судьбе народов...
Вот попробую догнать
Вон того урода.

Подает он мелочь мне
Жестом очень важным...
«Я убил его во сне» —
Говорю присяжным.

Можно сказать, что Одарченко скрупулезно следовал завету Бодлера: в стихотворении каждая следующая строка должна удивлять.

Я не знаю, когда и какая «муха укусила» Юрия Павловича, после чего он начал писать стихи, собранные в этой книге, — оригинальные, ни на какие другие непохожие. Единственный сборник его стихов «Денёк» помечен 1949 годом. Можно предположить, что содержащиеся в нем стихи написаны максимально за два предшествовавших года. А раньше? Знаю, что он писал стихи и раньше, но не хотел их показывать — во всяком случае, мне. Знаю от других, что это были стихи весьма среднего уровня и к тому же банальные и на банальные темы.

Зато отлично помню вечер в 47-м году у Владимира Смоленского, на котором присутствовали Георгий Иванов, Ирина Одоевцева, Александр Гингер, Георгий Раевский и я. На этом вечере Одарченко прочел свое маленькое стихотворение:

Как прекрасны слова:
Листопад, листопад, листопады!
Сколько рифм на слова:
Водопад, водопад, водопады!
Я расставлю слова
В наилучшем и строгом порядке —
Это будут слова,
От которых бегут без оглядки.

И, посмотрев на Раевского, экспромтом прибавил:

И тогда наилучшее слово,
Это, может быть, будет корова, —

что было явной клеветой. Раевский, безусловно, был грузным человеком, но своим обликом скорее напоминал раздобревшего Гёте, а никак не корову. Но это — «замечание на полях». Главное же — при последних двух строках («Это будут слова...») чуть вздрогнувший Георгий Иванов, человек исключительно чуткий к поэзии и к другим поэтам: он, пожалуй, один только тогда почувствовал в стихах Одарченко что-то новое, до сих пор не бывшее. С этого времени тогдашние парижские поэты нача-

ли постепенно «признавать» Одарченко. Но, за редким исключением, в читательскую толщу поэзия его проникала медленно и трудно.

Когда же стихи его стали появляться в парижском «Возрождении» и ньюйоркском «Новом журнале», отклики на них тогдашних критиков были более чем сдержанными. Одарченко это знал и не переставал утверждать: «Подождите пятьдесят лет и тогда увидите». Я искренне рад, что «увидели» на двадцать лет раньше. И не только в эмиграции (в эмиграции, пожалуй, меньше всего), но в Советском Союзе. Мне много приходилось встречаться с советскими поэтами от Твардовского до Слуцкого (перечислять всех не стану), и решительно все попросту балдели перед этими, ни на какие другие не похожими стихами, просили перечитывать по нескольку раз, записывали, считали их «новой страницей в русской поэзии». Так же отзывались о них и простые советские люди: «У нас так не пишут», — сказал мне один инженер, а для другого они были «проломом» или «брешью» в «приглаженных виршах», которые приходилось ему читать. Или, как говорил сам Одарченко:

Стихи теперешние плохи
И не кусаются, как блохи.
Но я земную ось верчу
И этого я не хочу!

Одарченко был изумительным рассказчиком, в особенности всевозможных фантастических приключений, которые зачастую сам же — во время рассказа — не только придумывал, но и переживал. Рассказывал же артистически, в лицах, с соответствующими интонациями, но никогда «не нажимая педали», словно дело идет о самых обыкновенных вещах. Расскажу о трех из них, которые особенно запомнились. Первая история — о маленьком «крокодильчике», который сбежал из зоопарка и которого Одарченко поймал на улице, спасая от автомобилей. Чтобы крепче его держать, он накрыл крокодильчика своим пиджаком и, остановив первое такси, велел ехать в зоопарк. Но крокодильчик вырывался, начал царапать сиденье автомобиля. Никакие уговоры не действовали, и пришлось припугнуть: «Если ты сейчас же не успокоишься, я протрезвлюсь — и ты исчезнешь!»

Вторая случилась вечером, после целого дня работы, когда он вышел «проветриться» и зашел в ближайшее кафе, подошел к стойке и попросил стакан вина. Вино принесли, но в это время в кафе вошел «человек средних лет, спокойно-серьезный, весь в черном и с розеткой Почетного Легиона в петлице», и встал около Одарченко. Видя, что это человек приличный, Одарченко вежливо предложил: «Месьё, не хотите ли выпить вместе со мной?» Человек вежливо кивнул головой. Одарчен-

ко попросил второй стакан. Они чокнулись и выпили. Но тут Одарченко заметил, что все на него смотрят. «Может быть, я запачкался краской? Может быть, костюм не в порядке?» Осмотрелся: ничего ненормального не заметил. Но случайно взгляд его упал на зеркало, и... он увидел перед собой два стакана вина, но сосед в зеркале не отражался. Бросив деньги на стойку, Одарченко выскочил из кафе и пустился бежать. Где-то, задыхаясь, без сил опустился на скамейку и начал припоминать. Где-то он уже видел «неотражавшегося человека». «Ах, да, — пять лет назад в Ницце, когда Шаляпин готовился играть Мефистофеля в "Фаусте": человек в черном по пятам ходил за ним».

Третья как раз происходила в Ницце, где Одарченко проводил летние каникулы. Он снимал комнату в маленьком отеле, с окном, выходящим на улицу. И вот однажды он видит, что куда-то бегут люди. Он выходит, спрашивает, в чем дело, и узнает, что на улице Кафарелли, метрах в ста от гостиницы, только что в драке с каким-то клиентом убит хозяин лавки. Одарченко побежал смотреть. Перед лавкой толпился народ, люди что-то кричали, жестикулировали. Работая локтями, Одарченко пробрался в лавку. В левом углу, как обычно, стояла бочка с мелкой серебристой рыбешкой. Кто-то набрал горсть рыбешки, поднял руку и начал рыбешку выпускать, так что она казалась «серебристым гор-

ным водопадиком» (надо было слышать, как красочно описывал он скользящую из руки и падавшую, как горный ручеек, обратно в кадку рыбешку). Затем он пробрался к пустому прилавку, но в этот момент из задней двери, как ни в чем не бывало и как всегда широко улыбающийся клиентам, вышел лавочник. Пораженный видением, Одарченко схватил какой-то попавшийся под руку предмет (кажется, табурет) и изо всех сил хватил лавочника по голове, убив его на месте, и, воспользовавшись минутным замешательством, стремглав бросился бежать в отель. Там он запер дверь, закрыл окно и замер, ожидая неминуемого ареста. Но проходили минуты, часы... — никто его не беспокоил. Когда же он открыл окно, снова увидел взволнованную толпу и крик газетчика: «Сын лавочника с улицы Кафарелли сошел с ума, потому что его отец был убит два раза».

Это лишь сжатая, сухая передача рассказов, почти всегда эспромтов. Надо было слышать его самого, потому что это было одновременно и рассказом и творчеством, вы присутствовали при рождении настоящего произведения искусства в его полноте: воображении художника и облечении его в словесно-звуковую форму.

Это была одна из причин, по которой дети так любили Юрия Павловича. Рассказывая им свои невероятные истории, он всегда приспособлял их к

детской психологии, отлично зная, что надо выделить, на что лишь намекнуть, чем возбудить детское любопытство и как все это соединить и продержать на таком же уровне до конца.

*

Теперь остается коснуться одной очень сложной, трудной и болезненной темы: Одарченко любил выпить, иногда довольно много. Это знали все, кто был с ним знаком. Поэтому и обойти эту сторону его «бытия» я не могу, хотя должен подчеркнуть, что сам никогда с ним не пил, да и пьяным его не видел. Видел «не в себе», но пьяным — никогда. Постараюсь это объяснить.

Как-то, говоря о своем творчестве, он сказал: «Я знаю одного молодого не очень талантливого французского писателя (к сожалению, забыл названную им фамилию). Его специальность — фантастические рассказы. Для этого он идет в кафе, выпивает около десятка "перно" (французская анисовая водка), после чего ему в голову лезет всякая чертовщина, а он ее записывает. Затем его приятель Сартр поправляет рукопись, ее принимают и издают. Так вот: чертовщина лезет мне в голову, когда я трезв, и мне приходится пить, чтобы от нее отделаться».

К сожалению, дело обстояло сложнее: Одарченко пил не только спиртные напитки, но и пропи-

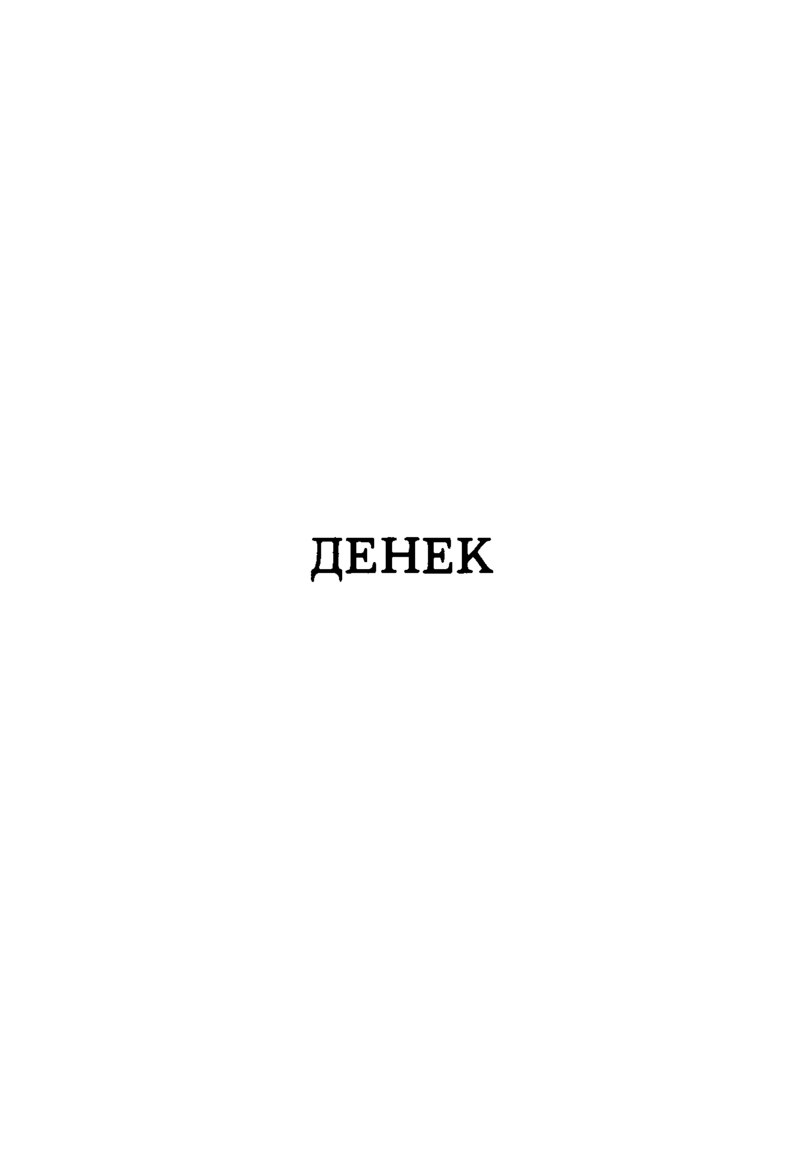
санный ему врачами бром. Ничего не понимая в медицине, я только знаю, что бром действует успокаивающе, но в каких случаях и при каких обстоятельствах, мне неизвестно. Этим своим лекарством Юрий Павлович даже гордился, утверждая, что оно уподобляет его Ницше, которого, как известно, тоже лечили бромом. Нормально он должен был принимать бром по столовой ложке перед обедом и ужином. Он же под конец выпивал его по литру в день...

Жили мы тогда в одной и той же гостинице. Я собирался в отпуск и зашел к нему часа в три. Он лежал навзничь на кровати в своем вечном берете. Приходу моему обрадовался, привстал, и начался обычный разговор «за жизнь», как любил выражаться Адамович. Но я сразу заметил, что он был «не в себе», — это отнюдь не означает, что он был пьян, лишь курил папиросу за папиросой. Разговор «за жизнь» продолжался недолго и очень скоро перешел в рассказ о том, что творится под землей, под нашим отелем. У меня создалось полное впечатление, что Одарченко вовсе не фантазирует, но в точности передает то, что видит. В памяти сохранилось впечатление от рассказанного: опять черти, гномы и другие «элементалы», борющиеся друг с другом в страшных, отвратительных корчах и схватках. Подробно восстановить рассказанного я уже не могу.

На следующий день я уехал в Альпы. Когда я вернулся, Одарченко уже не было. Хозяин отеля сказал мне, что его нашли возле газовой плиты, резиновая трубка, подводящая газ, была сорвана и один ее конец был у него во рту... Вызвали карету скорой помощи. Одарченко отвезли в ближайшую больницу, врачам удалось привести его в сознание, но после этого он прожил всего два или три дня.

«Темен жребий русского поэта», и неисповедимы пути, по которым ведет его Судьба. Юра Одарченко был замечательным поэтом и исключительно интересным человеком. Человек Одарченко жил в двух мирах, поэт Одарченко эти миры синтезировал, почти всегда обнаруживая их несовместимость в реальной жизни. В конце концов, это и привело к раздвоению, расколу его личности, раскол же привел к трагической гибели. Но не было бы раскола — не было бы и его необычайных и ни с какими иными не сравнимых стихов. Пусть же будет возрастающий интерес к его поэзии, его литературная удача — компенсацией, оправданием его неудачи жизненной.

К.Померанцев



ДЕНЕК

На всем вышеизложенном, однако,
Ни капли не настаиваю я.

А.Гингер

ЧАЙНАЯ РОЗА

Чашка чайная, в чашке чаёк
С отвратительной сливочной пенкой.
Роза чайная, в розе жучок
Отливает зловещим оттенком.
Это сон? Может быть.
                                        Но так много случайностей
В нашей жизни бывает за каждый денёк,
Что, увидевши розу душистую, чайную,
Я глазами ищу — где зловещий жучок.

Мальчик катит по дорожке
Легкое серсо.
В беленьких чулочках ножки,
Легкое серсо.
Солнце сквозь листву густую
Золотит песок,
И бросает тень большую
Кто-то на песок.
Мальчик смотрит улыбаясь:
Ворон на суку,
А под ним висит качаясь
Кто-то на суку.

На берег бросила волна

Расшитый золотом мешок.
Расшитый золотом мешок
На влажный золотой песок

Запенясь бросила волна.

Наверно золото в мешке

Или морские жемчуга.
Или морские жемчуга,
Но показались вдруг рога:

Наверно черт сидит в мешке.

Вот шевельнулась голова,

Змеею взвился черный хвост.
Змеею взвился черный хвост,
Коснулся в небе чистых звезд,

И закружилась голова.

Пора бы спать, да только сон

Меня украдкой обошел.
Меня украдкой обошел,
Вдали черемухой расцвел

Последний неизбежный сон.

Золотистый песок
И морской ветерок –
Море солнышком в зайчик играет.
Вяжет кофточку мать,
Ей свободно дышать –
Поглядит и с улыбкой вздыхает.
Дети сели в кружок
На горячий песок –
Строят что-то, смеются, играют.
А на берег прибой
Белоснежной волной
Пузырек на песочек бросает.
«Ну-ка, Ваня, открой,
Что в бутылочке той,
Мы сию же минуту узнаем»...
В ней сто тысяч чертей,
И записочка в ней:
S.O.S., S.O.S. – погибаем!

СТИХИ В АЛЬБОМ

Бом, бом, бом...
Вам стихи в альбом
Пишут Бим и Бом,
Оба сразу вместе,
Женихи невесте.
Бим, бим, бим...
Бим написал:
«Нам этой жизни мало»...
А Бом сказал:
«Достаточно трех дней».
А женщина привычно и устало
Копировала белых лебедей.
И муж ее, в блаженстве цепенея,
Был в совести своей ничем не уязвим,
Мерещилась развратная Помпея...
«Пиши-ка ты», сказал стыдливый Бим.
И видит Бом: пылающая лава
(Под ней скрывается покорная земля)
Кипя течет, как сладкая отрава,
От стен упрямого, безумного Кремля.
В набат колокола трезвонят:

И бим и бом, и бим и бом...
Что это, старый мир хоронят? —
Нет, это вам стихи в альбом.

СТРАУС

...и перья страуса склоненные
в моем качаются мозгу.

Страус вовсе не глупая птица
Он все тайны в пустыне познал —
Птице истину Бог подсказал...
Он бежать от людей не стремится,
Он спешит головою зарыться
В раскаленный на солнце песок —
Так бы сделал мудрейший пророк.

То, что ищут у птицы доныне,
Не в головке ее, не в груди —
Ищут перья — они позади.
Вот, пришпорив коней, бедуины
Вскачь летят по безбрежной пустыне.
А у страуса задран задок,
И головка зарыта в песок.

Бедуин в одеянии белом
За пером на коне подскакал

И перо за пером вырывал,
Точно овощ какой-нибудь спелый,
Бросив прочь ядовитые стрелы.
А потом для забавы своей –
Человек, это значит злодей –

Пресмешную задумав затею,
Разрубил напряженную шею.

Как бы мне в стихах не сбиться
Лишь на то, что ночью снится.

Солнца, солнца, солнца луч,
Озари из темных туч
В голове моей больной
Твой прекрасный рай земной:

Я прикован к гильотине,
Голова моя в корзине,
И от солнечных лучей
Кровь немного горячей.

Стоит на улице бедняк,
И это очень стыдно.
Я подаю ему медяк,
И это тоже стыдно.
Фонарь на улице горит,
Но ничего не видно.
На небе солнышко стоит,
И все-таки не видно.
Я плюнул в шапку бедняку,
А денежки растратил.
Наверно стыдно бедняку,
А мне — с какой же стати?
Фонарь на улице потух
И стало посветлее,
А пропоет второй петух —
В могилу поскорее.
Над ней стоит дубовый крест
И это очень ясно:
В сырой земле так много мест
И это так прекрасно!

ПЛАКАТ

Меж деревьев белый пароходик
Колесом раскрашенным шумит.

Борис Поплавский

Пароход, пароход, пароходик
Красным лезвием режет плакат,
Пассажиры по бортику в ряд
Опершись о перила стоят,
Путешествию кто же не рад?
Очень рад и стальной пароходик!

Ах как рад, ах как рад пароходик!
Красный носик, а винт позади,
От земли не легко отойти,
Дыму сколько из труб, погляди:
Дым кругом и вода впереди.
Веселее плыви, пароходик!

Это новый совсем пароходик:
В трюме нету всезнающих крыс,
Голубеет прозрачная высь,
Он далёко, далёко, вглядись —

Вот и скрылся за радужный мыс.
Очень нравится мне пароходик.

Помолюсь за стальной пароходик.
Шепчет на ухо ангел: «Не так
Ты молитву читаешь, чудак.
Повторяй потихоньку за мной:
Со святыми Господь упокой
Пароход, пароход, пароходик».

Что такое — денег нет? —
Отыщу знакомых,
А знакомых дома нет —
Это будет промах.

Промахнулся — не беда,
Съем в кредит и сытно,
Не поверят, вот тогда
Это будет стыдно.

Если ж вовсе не дадут
Мне без денег блюда,
Я с ума ведь не сойду
На пустой желудок.

Будет легче рассуждать
О судьбе народа...
Вот попробую догнать
Вон того урода.

Подает он мелочь мне
Жестом очень важным...
«Я убил его во сне» —
Говорю присяжным.

Щи да каша —
Пища наша.
Щи?
А поди-ка поищи
Щи с капустой красной.
Не ищи напрасно
Щей в столице мира...
Янтарями жира —
Желтые кружочки.
Ну, берите ложки!
Ой, ой, ой, что это за мясо?
Это же ягненок.
Ой, ой, ой, что это за мясо?
Это твой ребенок.
Аврааму слава!
Исааку слава!
Солнцу, звездам слава!
Человеку слава!
Жри его, орава...
Что это за жуть? —
Это райский путь.

ЧИСТЫЙ СЕРДЦЕМ

По канату слоник идет —
Хобот кверху, топорщатся уши.
По канату слоник вперед
Сквозь моря продвигается к суше.

Как такому тяжелому Бог
Позволяет ходить по канату?
Тумбы три вместо маленьких ног,
А четвертая кажется пятой.

Вдруг в пучину сияющих вод,
Оступившись, скользнет осторожный?
Продвигается слоник вперед,
Продолжая свой путь невозможный.

Если так, то подрежем канат,
Обманув справедливого Бога.
Бог почил, и архангелы спят...
«Ах, мой слоник!..» — туда и дорога!

Все на небе так сладостно спит,
А за слоника кто же осудит?!
Только сердце твердит и твердит,
Что второе пришествие будет.

Фуражка, шпага и цветы,
Друзей за гробом много...
Но вот от нас уходишь ты —
Пуста твоя дорога.
С тобой ни шпаги, ни цветов,
В Крыму твоя фуражка...
И хор из русских голосов —
Излишняя поблажка.

Дьявол, дьявол, сколько дашь
За мою душонку?
А душонка не проста,
И стыдлива, и чиста —
Русская душонка!
«А зачем мне покупать
Русскую душонку?
На одном конце червяк,
На другом конце дурак —
Пробочка душонка.
Мне забавней наблюдать
За твоей душонкой:
На мгновенье в вышине,
На мгновенье в глубине,
Самый маленький грешок
Тянет книзу поплавок —
Вот твоя душонка!»

«Весь день стоит как бы хрустальный»,
Я вижу ясно этот день,
Деревьев стройных очертанья
И веток кружевную тень.

Иду тропою тихим шагом
И вдруг, с кулак величиной,
Каким-то бешеным зигзагом
Взлетает муха предо мной.

В хрусталь из душного застенка
Жужжа врывается она.
Зловещим натрия оттенком
Сверкает синяя спина.

И трупного удушье духа
Всемирную колышет жуть...
Огромная слепая муха
В разъятую влетает грудь.

Возмездие — в преддверьи страха,
Пред ним душа едва светла,
И мысль, сожженная до тла,
Летит, как по ветру зола,
Как пыль взвихренная от взмаха
Стрелой пронзенного крыла.

Денёчек, денёчек, вот так день!
Весь день такая дребедень:
В душе, на ярмарке, в церквах
И в романтических стихах,
В последней хате, во дворце...
И точки нету на конце...
Денёчек, денёчек, вот так день!
Туманный день. И бездны тень
В душе, на ярмарке, в церквах
И в драматических стихах.
А если солнышко взойдет
И смерть под ручку приведет,
То это будет все равно —
В гробу и тесно и темно.

Есть совершенные картинки:
Шнурок порвался на ботинке,
Когда жена в театр спешит
И мужа злобно тормошит.

Когда усердно мать хлопочет:
Одеть теплей сыночка хочет,
Чтоб мальчик грудь не застудил,
А мальчик в прорубь угодил.

Когда скопил бедняк убогий
На механические ноги,
И снова бодро зашагал,
И под трамвай опять попал.

Когда в стремительной ракете
Решив края покинуть эти
Я расшибу о стенку лоб,
Поняв, что мир — закрытый гроб.

Мышь без оглядки от кошки бежит.
Волка убьют на охоте.
Птица по синему небу летит —
Платят за птицу по счёту.
Ясно. Все ясно. Но вот человек,
Если повеситься сам не сумеет,
Значит на старости лет заболеет,
Станет любимцем соседних аптек,
Так ли уж гордо звучит — Человек?

Подавайте самовар,
Клавдия Петровна!
Он блестит как медный шар,
От него струится пар,
В нем любви пылает жар...

Чай в двенадцать ровно!

В хрусталях блестят конфетки,
На столе лежат салфетки,
На салфетках ваши метки,
За столом все ваши детки...

Клавдия Петровна!

Папа к чаю запоздал,
Он всю ноченьку не спал,
Все по комнате шагал,
Но ведь сам же приказал:

Чай в двенадцать ровно!

Подошла к дверям. В дверях
Обернулась. Смертный страх

В помутневших зеркалах.
На паркет упала... Ах!

Клавдия Петровна.

Лишь для вас мои чайные розы,
Лишь о вас все случайные грезы.
Вы с улыбкою нежной своей,
Вы с изгибами рук-лебедей!
Ваши волосы — шелковый лен,
Голос ваш — колокольчика звон,
А глаза на прелестном лице —
Две зеленые мухи цеце.

В альбом Марине Померанцевой

Вот земной, Мариша, рай:
Зайчик, зайчик, убегай!

Но охотник злой стреляет
И зайчишку убивает.

Ах как жаль! Ах как жаль! –
Нету права на печаль.

Той дорогой, которой иду,
Я наверное в ад попаду.

Но оттуда по шелковой лесенке,
Напевая веселые песенки,
Я обратно на землю вернусь
И на крыше в кота воплощусь.

Буду жить я у девочки маленькой
В ее розовой чистенькой спаленке.
Буду нежно мурлыкать опять —
Но о чем, никому не понять.

Маменька, а маменька! что, часы сознательны?
«Ха, ха, ха, задал вопрос,
Часовщик часы принес,
Будь ему признательным!»

А скажи мне маменька, часовщик сознательный?
«Инженер идею дал,
Часовщик часы собрал,
Ах ты, любознательный!»

Ну, а как же маменька, инженер сознательный?
«Инженер бы сам не смог,
Инженера создал Бог,
И молись Создателю!»

В сердце дрогнули весы,
Чаша долу клонится,
Мальчик смотрит на часы,
Но пока не молится.

Кукушки водятся в часах
На каждом полустанке.
Живут древесницы в лесах,
Но их сажают в банки.
Они поют о светлых днях –
Им верьте иль не верьте...
Страшнее жить в стенных часах
И петь всю жизнь о смерти.

На маятнике стрелок нет,
А циферблат завешен шторой,
Но знаю я, что скоро, скоро
Свой нерешительный ответ
Я дам за много, много лет.
Тик-так, тик-так... Так это мерно,
Так безразличны тень и свет,
Что, может быть, почти наверно,
Тик-так и будет мой ответ...
Теперь, сегодня, скоро, скоро,
Когда мой маленький портрет
Завесит ангел черной шторой.

Из всех игрушек — лучшая волчок!
Он вертится вокруг оси своей,
Он песенку поет про лебедей.
Закрой глаза и слышится ручей
Среди водой обточенных камней.

Кругом трава, цветы, лесок —
Все это — маленький волчок.

Он вертится вокруг оси своей.
Он песенку поет про Бога и людей,
Поет об ангелах с крылами лебедей,
О розах и о радости детей.

Про красный, ослепительный цветок
Рассказывает маленький волчок.

Он вертится вокруг своей оси.
Ах, помощи у Бога не проси.
Нет ангелов с крылами лебедей,
И затихает сладостно ручей...

Последний вздох, последний срок
И умер маленький волчок.

— Здравствуй, Стеша, как дела?
Говорят, ты родила?
«Васенька, Васенька, родила».
— Родила — так родила.
Как же сына назвала?
«Васенькой, Васенькой назвала».
— Где же, Стеша, мальчик твой,
Говорят, он был больной?
«Васенька, Васенька *был* больной».

Шантаж чудесное словечко
(Из Франции занесено),
Способно погубить оно
В стадах белейшую овечку.
Какая власть дана словечку!
Из человека в человечка
Любого превратит оно.
Ему пред совестью дано
Гореть как пред иконой свечка.
Необычайное словечко!

В небе нежно-голубом
Над сияющим крестом
Вьется галок стая.

На предельной высоте
Разместилась на кресте
Черных галок стая.

Старушонка проходя,
В небо чистое глядя,
Сосчитала галок:

На предельной высоте
Разместилось на кресте
Тридцать девять галок.

На Красной площади, на плахе
Сидит веселый воробей,
И видит, как прохожий, в страхе,
Снимает шапку перед ней.

Как дико крестится старуха,
Глазами в сторону кося,
Как почесал за левым ухом
Злодей, добычу унося.

И с высоты своей взирая
На этих суетных людей,
Щебечет, солнце прославляя,
На плахе сидя, воробей.

Прелесть, прелесть, тайна в ней,
Прелесть в лёте голубей,
В раздвоенном жале змей,
Прелесть в жалобе людей.

Ты, великий Бог, внемли
Тихой жалобе земли.
Тонут, тонут корабли,
Те, что в море отошли.

А в оставшихся давно
Крысы съели все зерно,
Сгнило крашеное дно.
Где погибнуть? — Все равно.

Прелесть, прелесть, тайна в ней,
Прелесть в лёте голубей,
В раздвоенном жале змей,
Прелесть в гибели людей.

Как прекрасны слова:
Листопад, листопад, листопады!
Сколько рифм на слова:
Водопад, водопад, водопады!
Я расставлю слова
В наилучшем и строгом порядке –
Это будут слова,
От которых бегут без оглядки.

ПОСЛЕ ВЫСТАВКИ

Марк Шагал шагал по небу —
В небе млечный путь.
Только черту на потребу
Творческая жуть.

Пьют поэты четверть века,
Четки шевеля.
Носит бремя человека
Скорбная земля.

Дайте крови, дайте хлеба,
Вечной жизни плод.
Строгий ангел путь на небо
Зорко стережет.

За чугунными вратами
Райский сад растет,
В нем кровавыми слезами
Дерево цветет.

Дайте денег, дайте хлеба,
Дайте отдохнуть!..
Зашагал Шагал по небу
Прямо в млечный путь.

Прасковья, Паша, Пашенька!
Живет в высокой башенке.
Вокруг летают голуби
В глубокой синей проруби,
На самой вышке башенки
Скворец поет для Пашеньки,
А в небе облака
Белее молока.

Прасковья, Паша, Пашенька!
Под башней пашут пашенку,
Помахивая хвостиком,
Два очень смирных ослика.
На этой черной пашенке
Взойдут хлеба для Пашеньки.
А сеет те хлеба
Злодей Али-Баба.

Али, Али-Бабашенька!
Не тронь ты нашу Пашеньку.
Над ней в небесной проруби
Белее снега голуби.

Скворец на вышке башенки
Поет о счастьи Пашеньки.
Но скисли облака —
Они из молока!

В рай со свечкой не дойти,
Правды в мире не найти...
Тает свечечка в руке.
Нет ли правды в кабаке?
Здесь сиди да выпивай,
Поднимайся к правде в рай...
Нет ее и в кабаке!
Где ж она? — На чердаке.
Забирается чудак
Выше рая, на чердак.
Воск течет и с треском тает,
Пламя пальцы обжигает.
Ах, зачем так горяча
Кем-то данная свеча.
С нами Бог! — Со мной и с вами.
Озаряет нежно пламя:
Как в углу на чердаке
На тончайшем ремешке...
Свет погас. Теперь ни зги...
— Пашенька, Пашенька, помоги!

На волне гребешок — значит женщина утонула.
Черепаховый гребешок.
Почему он не тонет?
На волне гребешок... Ну, зачем утонула?..
Просто купалась, а гребешок из волос скользнул.
Ах, нет, лежала у берега,
Следила за чайками
И оставила гребешок.
Что на пляже кричат?
И как много народа...
«Пашенька, Пашенька утонула!»
На волне гребешок — значит женщина утонула.

А ты, Ванюша,
Поди зарежь черного петушка.
— Да с какой же стати?
Петушок по утрам поет.
Да чтоб его слушать
Надо живым быть,
А чтоб живым быть
Надо кушать.
Зарезал Ванюша петушка.
Вот все живы, сидят и слушают,
Как курочка кудахчет,
О петушке своем плачет.

Я себя в твореньи перерос
И творца творенье пожирает,
Кем-то в детстве заданный вопрос
Каплей йоду душу прожигает.
Куст каких-то ядовитых роз
Я взрастил поэзии на смену.
Мир земной, ведь это море слез...
А вот пьяным море по колено.

Я на старых заезженных клячах
Возвращаюсь в зеленую даль,
Ведь теперь в пригородных дачах
Наверно расцвел миндаль.

И у вишни, на пальчиках тонких,
Ноготок уже розовым стал,
И овес непослушным ребенком
В лес зеленой тропой убежал.

Солнце искрами радости блещет
Сквозь решетку весенних ветвей.
Зимний лист на осине трепещет,
Продержавшись всю зиму на ней.

Желтый, смятый в седой паутине,
Искупает чужую вину,
Но висит на весенней осине,
Значит тоже встречает весну.

В бистро французской деревушки
Смотрю в стеклянную дыру.
Слежу как бродят две телушки
По изумрудному ковру.

Душа уснула в мудром теле,
Мне ум совсем ни для чего.
Что надо мне на самом деле?
По совести — да ничего.

Слились кошмары Скотланд-Ярда
С журчанием осенних струй;
И всплеск шара на дне бильярда
Похож на детский поцелуй.

Все звезды созданы для маленькой земли,
Сплетаются в созвездия они,
И с неба падают — для маленькой земли.
Лишь только для того, чтоб малое дитя,
С душою чистой, на небо глядя,
Могло сказать: как это хорошо!
Уже во сне: как это хорошо!

На позолоченной площадке
На небе в царствии седьмом
Сидит на рыженькой лошадке
Вся в розовом и голубом.

Над ней плывет зари багрянец
В еще не замкнутом кольце,
И абрикосовый румянец
Горит на девственном лице.

Она давно уже с площадки
Мне знаки подает рукой
И обещает на лошадке
За мною прискакать весной.

Я съел во сне пирог с отравой
В гостях у бабушки Яги,
И с детства лучшею забавой
Считал гигантские шаги.

Но вот теперь хочу умерить
На полпути безумный шаг,
Остановиться и проверить
Подобный молнии зигзаг.

Я упираюсь — нету силы —
Несут гигантские шаги!
И вижу на краю могилы
Лицо смеющейся Яги.

Стучит машина без отказу,
Струится солнце на листы.
Легко диктует строгий разум
Итоги страшной пустоты:

Она ушла иль умерла,
Ведь это безразлично...
Как прежде комната светла,
А горе безгранично.

Остался в комнате один ты,
А за окном стоят, в горшках,
Трагические гиацинты
В чуть розоватых завитках.

Печаль, печаль, которой нет названья:
Печаль сознанья красоты —
Безмолвное очарованье
Земной несбыточной мечты.

Есть в той печали смысл глубокий
И в нем потусторонний миг,
Когда ты слышишь зов далекий,
Летящий из миров иных.

Божественное обещанье
Бессмертия в нем слышишь ты.
И нет тоске твоей названья
Перед сознаньем красоты.



НЕСОБРАННОЕ

НАТЮРМОРТ

На столе стакан разбитый,
Скатерть залита вином,
Муха в склянке недопитой
Бьется жалобно крылом.

Кто-то здесь боролся с верой,
Жил, любил и вновь страдал.
Лист бумаги мутно-серый
Мелкий почерк исписал.

Переплет из коленкора,
Недочитанный роман.
Дым рассеется не скоро,
Дым холодный, как туман.

И свеча в бутылке темной
Догорает в тишине,
Отражая свет нескромный
В незавешенном окне.

Летом солнце всходит рано,
И заря уже близка.
И сочится кровь из раны,
Из усталого виска.

Поздравляю всех молящихся
С тем, что молятся.
Поздравляю розы чайные
С тем, что колются.
Поздравляю всех трудящихся
С тем, что трудятся.
Получившего пощёчину
С тем, что судится.
Поздравляю неудачников,
Коль не клеится.
Продавца гуммиарабика,
Если клеится!
Поздравляю, низко кланяюсь
Встречным всем наперечёт.
Поздравляю, низко кланяюсь
Всем, кто дышит и живёт.

1950

Я недоволен медведями:
«Они не сеют и не жнут»,
Но мёд и землянику жрут
И спят в берлогах месяцами —
— Я очень недоволен медведями!
На небе знаки звездочёта
Большой Медведицей зовут,
На небе звездочек без счета
И Малые Медведицы растут.
Медведь огромный вместо Бога
Над миром лапу протянул,
Он лермонтовским сном уснул,
Пока не прозвучит тревога.
Не призывайте ж имя Бога!

Стали подниматься на ступени
Душ обезображенные тени:
Жабы, крабы, змеи, попугаи,
Пауков подслеповатых стаи,
Всяческих размеров черепахи
И за ними черные монахи.
По ступеням солнечным всё выше...
Телеграфные столбы и крыши,
И лунатикам любезные карнизы —
Спрятали монашеские ризы.
Выше, выше! Через кантик тучи,
Но чем выше, тем ступени круче.
На лужайке, с розами в руках,
В нестерпимо ослепительных лучах,
Мальчик в рубашонке, на краю
Незлобливо улыбается в Раю.

Ветхий, очень ветхий дом,
Редкий дом, в котором ром
Подают к обеду —
Я туда поеду!
Прохожу зеркальный зал,
Император танцевал
В нем с веселой Настей,
А теперь-то страсти:
Посреди стеклянный гроб
И в гробу несчастный Боб,
Бывший сумасшедший,
Свой покой нашедший.
Ветхий, очень ветхий поп,
Обходя раскрытый гроб,
Шевелит кадило.
Вырыта-ль могила?
Глухо стонет ветхий дом,
Пьют в столовой крепкий ром
И ведут беседу...
Нет уж не поеду!

Стрелки бывают всякой масти.
Стрелок из лука очень смел:
Он не боится львиной пасти
Имея лук и пачку стрел.

Из пистолета на дуэли
Дурак стреляет в дурака.
Всегда из благородной цели
Он целит в лоб издалека!

Стрелок-охотник забавляясь
Стреляет в клубе голубей —
Из клетки голубь вырываясь
Летит — попробуй-ка убей!

Но есть еще стрелки иные —
Глаза горят и просят дать
Их руки желтые худые...
А ну, попробуй отказать.

Пойдет он сгорбившись обратно.
Но нет обратного пути.
Он только что ушел от брата
И больше некуда идти.

В аптеке продается вата,
Пеницилин и аспирин.
В аптеку входит бесноватый
И покупает апельсин.

Он покупает по рецепту,
Прописанному Сатаной,
И, расплатившись с фармацевтом,
Идет уверенно домой.

Луна сквозь облачную вату
Играет зеркалом витрин.
Грызет, кривляясь, бесноватый
Свой ядовитый апельсин.

На вокзале, где ждали пыхтя паровозы,
Вы спеша уронили три красные розы.
Ваш букет был велик и отсутствия роз
Не заметил никто, даже сам паровоз.

На асфальте прекрасные красные розы,
Синий дым, как вуаль, из трубы паровоза.
Я отнял у асфальта сияние роз
И забросил в трубу — похвалить паровоз.

Это редкость: прекрасную красную розу,
Ожидая отход, проглотить паровозу.
И по вкусу пришлося сияние роз,
Как разбойник в лесу засвистел паровоз.

На стеклянном, огромном, бездонном вокзале
Мне три красные искры в ладони упали.
Зажимая ладонь было больно до слез —
Мне прожгло мое сердце сияние роз.

Идут поэт и попрошайка
В обнимку через Красный мост,
За ними едет таратайка
И зазывает на погост.
Поэту холодно и зябко,
Он ходит в летнем пиджаке.
На попрошайке — просто тряпка
И две дыры на башмаке.
От смерти низкие перилы
Их отделяют в эту ночь,
Но нету у поэта силы
Предсмертный ужас превозмочь.
А друг его на таратайке
Уже умчался на погост...
Идет поэт без попрошайки
В сияньи через Красный мост.

На самом дне в зеленом жбане
В перелицованном жупане,
Не говоря ни да ни нет
Сидит подстриженный поэт.

Над ним плывут по небу тучки,
Но он сложил спокойно ручки
И прикусил себе язык,
Сказав, что к этому привык.

И лебеди в порочном страхе,
И дева в ситцевой рубахе,
И розы, звезды, соловей,
И с ними Дядька Чародей

Бегут в неистовом испуге
К уравновешенной супруге
Сказать, что стриженный поэт
Не говорит ни да ни нет.

Стоят в аптеке два шара:
Оранжевый и синий.
Стоит на улице жара
И люди в парусине.

Вхожу в аптеку и шары
Конечно разбиваю,
В участке нет такой жары,
А цвет сейчас узнаю.

Горит оранжевый рассвет
На синей пелерине.
Отлично выспался поэт
На каменной перине.

Скрылись бесы под плащем зеленым
Над землей застывшей навсегда
И пытаются железом раскаленным
Воскресить вчерашнее Ура!

Тучи ос — бесовская отрада —
Жалят мертвые сердца людей,
И во тьме церковная ограда
Шелестит как стая лебедей.

Черный бык, передними ногами
Упершись в полузакрытый ров,
Сильными короткими рогами
Отрывает нужных мертвецов.

Месяц светит над невестой бывшей,
Освещает желтые поля,
И в пространстве звездочкой остывшей
Вертится озябшая земля.

Как нежно ветер над полем стелится.
На нем равноправные лежат мертвецы.
Слегка по утру завеет метелица.
Рцы, Господи праведный, рцы!

Никто не верует да и не молится
Тебе, о Господи, лишь мертвецы.
Над ними месяц на землю клонится.
Рцы, Господи праведный, рцы!

Это совсем не так, это гораздо проще:
Прожил семьдесят лет и вот лежишь на погосте.
И то, что было в чудесной жизни, —
Наполовину фантазия.
Расплескалась чаша с вином —
Наполовину с отравою.
Прожил семьдесят лет —
И вот тебя нет.
А то, что цветы на украшенной грядке,
И над цветами еще мотыльки,
Над мотыльками атласное небо:
Это Платоновский мир, но в обратном порядке.

В.Л.Книжниковой

Жизнь исчисляют не годами,
Она течет, как волны рек.
В них с удивленными глазами
Плывет бесправный человек.

Когда река, впадая в море,
Влечет усталого пловца,
У всех предчувствующих горе
В груди сжимаются сердца.

Но руки машут над водою,
Кругом знакомые места,
И веет новою весною...
Не ставьте над живым креста!

Жизнь исчисляют не годами,
Она течет, как волны рек.
В них с лучезарными глазами
Плывет бесстрашный человек.

Желтый Ангел пролетел по небу,
Рисовою веткой погрозил.
Спелый колос золотого хлеба
Протянул ему Архангел Михаил.

Леший, сидя у лесной тропинки,
Яд варил для камышевых стрел
И сказал пришедшим на поминки:
Посмотрите, хлеб уже созрел.

Зарево зари еще беспечной
Нежным светом землю озарит.
В нищенских дворцах Замоскворечья
Не для нас ли петел прокричит?

Но теперь заря уже настала,
Михаил в сиянии стоит,
Желтый ангел, опустив забрало,
С диким криком на Восток летит.

Вечеров литературных завсегдатаи!
Умирания искусства соглядатаи!
Кто билетом ненавистным не гнушается,
Дань отдавши, очень вежливо прощается!
Те, кто слушает, всегда усердно хлопая,
Кто не слушая сидит, ушами хлопая!
Кто не так уже пронзительно сморкается,
И при встрече у буфета улыбается!
Окажите мне последнее почтение –
Приходите вы ко мне на погребение,
Буду я покоиться в гробу
С христианской грамоткой на лбу...
В ней написано всё то, о чем мечтал
И чего я в жизни не сказал.

Луну волки съели
И не на что больше выть.
Поэты себя перепели,
Но как же с музою быть?
С божественной, беспрекословной,
С золотою арфой в руках,
Манящей и обещающей,
На кофейной гуще гадающей:
«Быть или не быть»?
Нет, не на что больше выть.
Но есть страна, где солнце иное,
Разрезанное пополам.
В нем заложено счастье земное,
В нем дыры и слезы и тарра-рам.

С Новым годом, инженеры рукомойников!
Мы поздравим розы красные, покойников,
Чингис-хана поздравляем, потому что помер он,
С уважением поставим первым номером.
Поздравляем в небе мертвую медведицу,
И всемирную, конечно, гололедицу.
Гололедица растет в марте месяце,
Поздравляем тех, которые повесятся.
Но есть люди, кто и горем не гнушается,
Так поздравим всех, кто с этим соглашается!

ПЕСНЬ О СЕВЕРНОМ СУДАКЕ

В каком-то доме был чердак,
Где умер северный судак.
Двоюродные братья и даже просто братья!

На песчаном откосе лежит судак.
Это не выдумка — это так!
Не на серебряном подносе,
А на песчаном откосе.

Лежит он смирно на боку,
Теперь не нужны судаку
Двоюродные братья и даже просто братья —
Судак в Божественных объятьях.
Он умер, не убит,
И чешуя его блестит,
И ангелы на чердаке
Поют о мертвом судаке.

Основа жизни есть сомненье,
Поэзия — дитя его,
Торжественное откровенье
Из хаоса, из ничего.

Тростник колышется в пустыне,
По небу катится звезда.
Все, что свершается доныне,
Сомненьем движется всегда.

В сомненьи есть очарованье.
О, трудная моя любовь,
В ней даже первое признанье
Сомненьем движимая кровь.

Года, года, как страшно это,
Но сердце бьется оттого,
Что даже в страшный час ответа
Не изменится ничего.

Есть в старости свое величье,
Единственная красота.
Нет к людям больше безразличья,
Но есть любовь и простота.

Оделся старец к Литургии
И напомадил два уса.
Но чтоб явиться как другие,
Он одевался три часа.

Проходит прямо, не сгибаясь,
И палкой по камням стучит.
И смотрит каждый, улыбаясь,
И всякий с ним заговорит.

Смеются смуглые девчата:
«Ведь ты наш дедушка мороз»,
А проходящие солдаты
Отдали честь совсем всерьез.

Летя в небесной колеснице
И подымая ветерок:
«Что старче, ломит в пояснице?» —
«Перед грозой, Илья Пророк».

В перетопленных залах больницы
Сумасшедшие люди кричат.
Но я вижу окраины Ниццы
И луга, где коровы мычат.

Вот приходит высокий и строгий
Над людьми властелин — психиатр.
Он им стукает палочкой ноги,
Начиная привычный театр.

Подошедши к моей вероломной кровати,
Долго имя читает, поднявши очки:
«Это русский? Скажите, с какой же он стати
Здесь лежит?» — говорит, расширяя зрачки.

И потом прибавляет, высокий и строгий,
Улыбаясь концом папиросы своей:
«Если русский, — наверное думает много,
Вероятно, о спутниках. Слушайте, эй!»

Но я вижу поэта в приветливой Каньи:
С книгой ходит, и белые чайки летят...
«Эти русские, просто одно наказанье».
Говорит психиатр, а больные кричат.

На палубе работают матросы,
Над морем пролетают альбатросы.

У печки погибают кочегары,
В прохладе нежатся ленивые гагары.

Как пароходу минуть мины,
Вокруг которых плещутся дельфины.

Сам капитан в бинокль глядит
И видит в море рыбу-кит.

Киту привольно и отрадно,
А капитану так досадно:

Что море дремлет, солнце блещет,
Но в лихорадке флаг трепещет.

Сидят надменные вельможи
На тронах. Их пятнадцать тут.
Один сказал: «Великий Боже,
Ведь нам пожалуй что капут».

Другой взглянул на статуэтку,
Из кости желтого слона,
Поставил в книжечке отметку
И возразил: «еще весна».

А третий молвил: «миловзоры!»
Четвертый, пятый и шестой
Чертили пальцами узоры
На слое пыли вековой.
Седьмой, восьмой и два девятых
(Они ведь были близнецы)
Жевали пряники из мяты
И все молчали мудрецы.

Одиннадцатый и другие
Вдруг крикнули: «банзай, банзай!»
И за слова свои благие
Живыми были взяты в Рай.

Сгибаясь, смуглые девицы
Несут корзины спелых ягод.
Из этих ягод вареницы
На всю деревню хватит на год.

Уселись девушки на травке,
Кто ножку трет, кто шьет платок,
А кто пришпилил на булавке
К прическе розовый цветок.

Опять старуха на пороге:
«Эй, девки, живо за водой».
И снова тянется дорога,
Ведущая на водопой.

Сгибаясь, смуглые девицы
Несут с водою кувшины.
И пением свободной птицы
Все вздохи их заглушены.

Они садятся не на травке,
Теперь уж поздний вечерок.
Ложатся в темноте на лавки,
Им светит сорванный цветок.

Я болен страшною болезнью:
Не сифилисом, не чумой —
Еще страшнейшею болезнью —
Пошел я по миру с сумой.

Встречать знакомых мне не стыдно —
«Ах, здравствуйте! Я очень рад.
На бал собрались? это видно.
Но что за странный маскарад?»

А я протягиваю руку
И мне, смеясь, суют пятак.
Я спешно пожимаю руку
И ухожу на свой чердак.

Там в щелях шепчут тараканы —
Ну что, повесится ли он?
Заглядывают мне [в карманы]
И видят — денег миллион.

На эти деньги покупаю
Вина, селедки, папирос.
И в тишине своей читаю
Безумный гоголевский «Нос».

Дух захватывает мне,
Я качаюсь на седле,
Толпы, толпы... На коне —
Я перед толпою.
«Браво! браво!» — это мне
Так кричат по всей земле —
Люди все со мною!
Дух захватывает мне;
Я на уличном столбе...
Толпы, толпы на земле,
С высоты всё видно.
Как светильник на столбе
Озаряю Вас в петле.
Мертвому не стыдно.

Стихи теперешние плохи
И не кусаются как блохи.
Журчит по камешкам ручей –
Вода на камнях розовей,
Порхают синие стрекозы,
Пасутся на лужайках козы,
На клумбах розовые розы.
Но я земную ось верчу
И этого я не хочу.
Медведи стали огурцами!
Я с детства к точности привык
И повторяю: огурцами.
Разнообразен наш язык.
А сколько их в соленой бочке!
В ней русский дух, в ней есть укроп.
Здесь точность требовала б точки,
Но – огурцы, на них укроп...
Неточность вся в последней строчке:
Не снят еще стеклянный гроб.

Отчаяние чуждо мне, —
Оно ведь человечно.
Другое чувство жизни вечной
В моем предвечном полусне.

Кровавый дождь хлыстами хлещет
По искаженному лицу,
И призывает голос вещий
К уже пришедшему концу.

В меня с небес бросают камни,
Земля трепещет под пятой.
И уплывает в хаос давний
Обезображенный святой.

Скорее стать, чем был от века,
На Лысой просиять горе.
Скорее образ человека
Оставить в пламенной заре.

И с визгом, хохотом и плачем,
С верхушки огненной горы,
Перекрестившись наудачу,
Слететь навек в тартарары.

Посв. К.Д.Померанцеву

Я умираю бессловесно,
Как умирает скот.
Теперь давным-давно известно:
Так умирал народ.

На сердце каждого солдата
Приколот Богом алый бант,
Но почитается за брата
Солдатом русский эмигрант.

В раю с войною будет тесно —
Апостол шепчет у ворот —
Но этот умер бессловесно,
Как умирал народ!

ОТРЫВКИ И ЧЕРНОВИКИ

*

Ну, а если смысла нет,
Если всё — холодный свет,
Строгий и сухой рассвет,
Голубой прозрачный лед?
Если там, да если там?..
Отчего вдруг стало вам
. . . . невмочь?
В церкви пусто, в церкви ночь!

(Написано карандашом на обороте машинописного экземпляра стихотворения «Золотой песок»).

*

Износился галстух мой горошинкой,
К сердцу рухнул деревянный мост,
Был я раньше мальчик прехорошенький,
А теперь — теперь кобылий хвост.

(Написано карандашом на визитной карточке Ю.Одарченко. В тексте записки К.Д.Померанцеву).

*

Вот она, ушедшая деревня.
И над ней усталая луна.
Тощие, безрукие деревья,
Мимо них дорога как струна.
Так ушла безвременно природа!
У шлагбаума туман уснул,
Точно с перекисью водорода
Город паклю в горло ткнул.

(Из письма к К.Л.Померанцеву. Без даты. Перед стихами — следующие строки:

«Как жаль, что в "Опытах" появились стихи Г.Иванова: "Перекисью водорода/Обесцвечена природа"...»
После стихотворения: «Стихи, конечно, не отделаны: хорей переходит в ямб... ‹автор ошибочно принимает за ямб те же хореические строки, но насыщенные пиррихиями — В.Б.›, но важно то, что рифма "природа" и "перекись водорода" была найдена мною несколько лет тому назад. Теперь приходится после долгих трудов выбросить эти стихи. Обидно. Можно было бы их выправить и напечатать».



ПРОЗА

Ночное свидание

В горку, на горку, по серым скалам... Бурлит вода по обе стороны. Карабкаются по отвесным утесам огненно-красные человечки. А приглядишься к ним — вовсе не черти. Черти всегда зеленые, когда на земле; а в аду, конечно, красные. Потому и семафоры от Симферополя до Севастополя — один красный, другой зеленый. Вот как устроено!

Огненные человечки падают с утесов, ранят ладони о серые камни и цепляются за каждый выступ, за каждую едва заметную ветвь. Иногда они часто-часто взмахивают красными ручонками и, как стрекозы, поднимаются в черное небо.

Но если они красные, то это непременно черти. Зачем тогда семафоры от Севастополя до Симферополя? Несомненно, я ошибаюсь, но ведь я для того и пишу, чтобы ошибаться. И потому, почему черти? Вот один весь радужный, а другой, — как пишет Александр Васильевич, — отливает зеленым оттенком натрия. — «У натрия оттенок не зеленый, а синий», — говорит мой брат-химик. Но это несущественно, важно слово «натрий», а какой у него оттенок — не все ли равно? Впрочем, ясно, что я заговариваюсь. Это, я думаю, оттого, что: Сева-

стополь, Симферополь, Мефистофель... Но здесь, кажется, слишком, — Мефистофель, это совсем другое. Пора бы взяться за рассказ.

Я помню себя, когда мне было год, не более. И первое мое воспоминание детства были клопы, а клопы пахнут ромом! В моем предисловии я несколько поэтизировал их, сравнив с красными человечками, карабкающимися на неприступные скалы. Но скалы эти были не скалы, а серый карниз, местами облупленный, местами покрытый грязными пятнами, и над самой дверью — черный, церковный, свечой сто раз прокопченный, расплывчатый, православный крест.

Я помню эту случайную комнату, вблизи волшебного харьковского вокзала, где пассажиры стучат ложечками о свои пустые стаканы, вызывая слуг. Звон и говор летят под самый купол. Если закрыть глаза, очарованный слушаешь бесподобную симфонию.

Я помню, когда в серой комнате открыли ставни — золотой петух звонким голосом пропел: Христос Воскресе! Помню, как по карнизу, каждый в свой бункер, направились красные человечки, чтобы спрятаться там на весь долгий день, до той минуты, когда мать потушит свечу и бесшумно закроет за собою дверь, думая, что «глупенький уснул».

Но вот мне сорок пять лет. Я смотрю на такой же карниз, но не вижу красных человечков, и мне

скучно. В комнате еще остался их след — едва ощутимый запах рома, точно аромат тончайших духов прошедшей мимо красавицы. Я лежу на диване, глядя в потолок — это моя любимая поза, так как взор поэта всегда должен быть устремлен в небеса. Слабая лампа едва освещает огромную комнату, которую я снимаю у Марины Арнольдовны Черепичниковой.

У меня много друзей-писателей, которые приходят ко мне подышать ароматом прошедшей мимо красавицы, а вовсе не для решения мировых вопросов, отлично сознавая, что вопросы эти давным-давно решены временем и еще чем-то... не знаю. Друзья-писатели, впрочем, ко мне не входят, а впрыгивают в окно. И это для того, чтобы не беспокоить Марину Арнольдовну. Конечно, не все на это соглашаются, а только мягкосердечные люди. Делается это так: например, мой любимый друг, Владимир, — легкий стук в окно (через стекло ничего не видно, только маленькая луна пугливо убегает прочь от предстоящего русского празднословия). — «Окно не заперто!» — кричу я, и Володя на тонких, но крепких руках поднимается на подоконник моей метафизической комнаты. Черный силуэт его скрывает неблагожелательную луну, и слабый свет комнаты освещает его смуглое лицо и ту очаровательную улыбку, разгадку которой я нашел много лет

спустя. Володя делает усилие и, летучей мышью, легко влетает в комнату. Так каждый вечер.

Сегодня я лег пораньше в надежде прочитать хотя бы страницу из книги с заманчивым названием «На весах Иова». С удивлением и тайным самодовольством прочел: «Индивидуальная жизнь появилась во Вселенной вопреки воле Бога, и потому по самому существу своему она нечестива, и смерть, т.е. уничтожение, есть справедливое естественное возмездие за преступное своеволие».

Это — легенда, занесенная на Запад с Востока и которую Запад не пожелал принять. Перевернув несколько страниц, я опять углубился в чтение. «Ведь в "Я", и только в "Я" с его иррациональностью, залог возможности освободиться от гипноза математической истины, которую философы за ее "нематериальность" и вечность поставили на место Бога». Я закрыл книгу: слишком умно для меня. Я никогда не мог уловить разницы между духовным и материальным. Люди живут на земле; если живешь плохо, — пропадешь обязательно; поэтому, наученные горьким опытом, люди стараются жить лучше, — и это несомненно! Двигаясь этим единственным путем, они с невероятной настойчивостью идут вперед, а что там впереди... ведь итти-то осталось еще квадрильон квадрильонов лет.

Однако, уже поздно, а Володи все еще нет. Обыкновенно он усаживается в конце комнаты в единст-

венное удобное кресло. По привычке я заглянул в угол: Володя преспокойно сидел в своем кресле, заложив ногу за ногу, и маленькими мудрыми глотками пил клоповую настойку. Он с глуповатой приветливостью поглядывал на меня, как всегда опустив в бессильи вдоль кресла красивую руку, а другой держа на уровне столько раз поражавшего меня лица стакан рома. Эти усталые загоревшие руки мертвыми крыльями застывают в самых неожиданных позах, и всегда дивишься им. Темное смуглое лицо, которое иной раз можно встретить у татарина, — и на этом лице — непроницаемые бархатно-черные глаза. Я смотрю своими хохлацкими голубыми глазами в глаза Владимира и почти уже знаю, что — за их непроницаемостью. Жестоко сжатые губы и подчеркивающий эту складку, слегка выдающийся вперед подбородок. Вот таким должен быть Кирибеевич... Но женская мушка над верхней губой, ни к селу ни к городу, преображает все лицо Владимира в тихое, доброе, а когда Владимир улыбается, жестокая складка, слишком правильный нос и темные глаза безупречно гармонируют с мушкой над верхней губой. Становится ясно, что правда не в опричнике, а в любящем детской любовью мир изумительном поэте.

— Я не заметил, когда ты вошел, — говорю я, чтобы начать разговор, который можно было бы и не начинать.

Владимир смотрит в меня, и это чрезвычайно неприятно, но я не поддаюсь ему.

Своим скрипучим, но приятным голосом Владимир начинает говорить, предварительно поставив свой стакан на стол.

— Вот я пришел к тебе, потому что ты один из немногих, которые не боятся меня.

— Да ты ведь каждый вечер приходишь, чего же мне бояться тебя!

Очаровательная улыбка осветила лицо поэта. Разве таких боятся? А между прочим нынче Володя чем-то страшноват: то ли глаза его стали для меня совсем непроницаемы, то ли за светом лампы я не вижу спасительной мушки... Я не боюсь его, но он самоуверенно страшен!

— Ну, расскажи что-нибудь, — говорю я тихим голосом.

— Что-нибудь? Но я так много могу рассказать тебе.

— Ну, и рассказывай, — начинаю я злиться.

Володя не умеет хмуриться; мой бессмертный Володя, он только становится как-то темнее, сумрачнее. О, как я люблю его! Это, быть может, единственный человек, которого я люблю по-настоящему. Если бы он умер, то я с его женой, «пресвятой Анастасией», шел бы за гробом, — почему-то всегда несколько смешным, — и мы плакали бы, как белуги. А именно в Севастополе я видел в аквариуме

огромную белугу , но она вовсе не плакала, а плавала и непрестанно ныряла. Вот это здорово. Но, Господи, зачем умирать? А уж если надо, то по своей воле, хотя такого не бывает; умирают от безвыходности души, когда со всех сторон скованная, она делает последний прыжок, и земной оркестрик затихает. А барабан возвещает смертельную опасность!

— Послушай, — говорит Володя, — ты просил меня что-нибудь рассказать тебе, но я не расскажу, а скажу.

— Говори.

— Да вот видишь ли, то, что мы считали так, вовсе не так.

— Замечательно! — уже с чистой злобой отвечаю я.

— Человека судят не по творчеству, — продолжает Владимир, — а по делам его. Конечно, творчество входит в круг дел, но не больше. Ты мне такому поверь!

— Я не понимаю.

— Хорошее стихотворение не лучше приветливой улыбки, а злое... ну, вот стихи, которые ты так любишь:

«И если провезут твой гроб,
Моя рука не перекрестит лоб»...

За то, что «моя рука не перекрестит лоб», тому, кто

это написал, придется пройти до райских врат квадрильон квадрильонов: — это я знаю наверное.

Я начинаю принимать разговор всерьез и возражаю по-своему.

— Где-то я вычитал странную легенду; выслушай ее, Владимир. Кончился страшный суд. Славословя Господа, праведники в белых одеждах отправились в рай, а грешники, как полагается, с криком и воплями, были низвергнуты в ад. Осталась малая группа людей, стоявших в сторонке. — Кто эти? — спросил Бог архангела. — Бог мой, это странные люди, говорящие на странном языке, но все они — грешники, и не отправить ли их по закону в ад?

Удаляясь, грешники говорили непонятное на непонятных языках, и слова последнего долетели до слуха судящего Бога:

— «Божье имя, как большая птица, — вылетело из моей груди, — впереди густой туман клубится, — и пустая клетка позади».

Прошло время. Бог позвал архангела. — «Пусть праведники поговорят со мною на языке грешников, которых ты отправил в ад». — Но ни один праведник не смог говорить на языке грешных поэтов.

Тогда архангел вернул грешников, говорящих на странных языках. И слушал их Господь и радовался, что человеческий язык мог превратиться в дивную музыку. — Мне эта легенда всегда нравилась, но Владимир как бы вовсе не слушал ее.

— Я хотел сказать тебе, — с усилием продолжал он свою мысль, — пока не поздно, не пиши вовсе, как говорит Экклезиаст, или пиши:

«Вчера я отворил темницу воздушной пленницы моей»...

Наш несвязный разговор мог бы продолжаться долго, но в это мгновение послышался, дробью рассыпавшийся, стук в окно.

— Какой еще черт в этот час? — взглянул я на Володю, взявшего в руку стакан.

Я встал с дивана и подошел к окну.

— Юлий Савич! — услышал я знакомый голос Аси, — Юлий Савич, придите, ради Бога, Владимир час тому назад умер.

Я взглянул в угол: туманное пятно расплывалось, сливаясь с полусветом комнаты. — «Эх-эх, — крикнул я, и потом, тихим голосом: — Ася, я иду»...

Псел

Иногда ранней осенью бывают дни, когда солнце светит сквозь пелену серебряной пыли, и тогда еще не успевшая поблекнуть трава, листья кустов и деревьев, стены деревенских домов и узкая дорога — кажутся серебряными. Кое-где видны среди еще свежей зелени желтые листья, будто лимоны или апельсины жарких стран. Вспоминается южное море. Но то, что видишь здесь, в эту раннюю осень, лучше природы юга. На севере Франции бывают прекрасные осенние дни. Солнце, которого не бывало здесь все дождливое лето и которое раскаляло асфальты Ниццы, выжигая все, что было свежим и зеленым на земле, для того чтобы море казалось еще более синим, решило заглянуть к нам. И увидев, что нет у нас синего моря, — осветило последнюю зелень мягким, ласковым светом.

В такой день мне пришло в голову рассказать простую, но поразившую меня историю. А еще помог мне припомнить случившееся серый котенок, игравший на столе и которого случайный луч солнца превратил в серебряный шарик.

*

Летят дни и годы, натянутая струна жизни вздрагивает под тяжестью маленького человека-акробата. Идет он по ней вперед, то быстро перебегая несколько шагов, то останавливаясь и глядя на уже пройденный путь. Иногда он с напряженным вниманием смотрит вперед, но и начало и конец натянутой нити теряются там, где небо решилось прикоснуться земли. Иногда кажется, что струна оборвется и человек-акробат не то упадет вниз, не то, зацепившись за оборванный конец, улетит с ним, держась крепко за еще звенящую струну. А вдруг он сейчас, в эту минуту, сам прыгнет вниз?! Нет, он взмахнул руками, изогнулся мускулистым телом, чудом удержался и вновь зашагал вперед.

Мать, ты ласкаешь сына своим взглядом и следишь, как идет он, теряясь на горизонте. Но я отец и должен идти вперед. Сегодня я остановил быструю реку Псел.

*

Бугор, покрытый чебрецом и высохшей мятой, кое-где почти совсем выжжен солнцем. Трудно босыми ногами идти по колючим растениям, но ближе чувствуешь себя к ним и к земле, а когда дойдешь до бархатной лысины желтого песка, думаешь, что тут и отдохнешь. Но песок огненный, и в припляску перебегаешь вновь к колючим растениям, чтобы,

отнимая у них последнюю влагу, идти дальше, пригибая их молчаливые лиловые головки.

С этого бугра видно темнозеленую полосу ольхи, окружающую Старый Псел. Старый Псел — всего-навсего бывшее русло Нового Псела. Когда-то здесь текла, между песчаных откосов, веселая шумливая вода. Но теперь высокие ольхи прячут мутной пылью покрытую воду, и острая осока поднимается вдоль берегов, не видно течения, не слышно шума. Наверное, природа решила дать покой уставшей реке. За полосой ольхи тянется бесконечный луг, до самого Кургана и Азака. Местами луг от ядовитых лютиков совершенно желтый, местами весь розовый, как будто и нет никакой травы, а только луговые гвоздики. А дальше становится он все зеленее, покуда зелень не доходит до изумрудного цвета. За изумрудной травой протекает Новый Псел. Его не видно даже с высокого бугра. Низко его русло между отлогих берегов. Не отгадать, что между зеленью и желтым песком живет неведомая сила. Но как же не знать, что Псел, торопясь и сверкая, широкой дорогой протекает именно там. Мы все знаем, что это от его правого берега поднимается ржавый Азак, лиловато-розовый Курган, и уже совсем с краю — белый откос Червленых — меловые горы с темными жилками, — как будто молния летней грозы, ослепительная на черном небе, но здесь черная и еще более страшная, за-

стыла на снежном меловом откосе. Нельзя ни рассказать, ни передать красками то, что видишь. Можно только часами, не двигаясь, глядеть перед собою и только потом, много лет спустя, улыбнуться кому-нибудь, помочь другу или простить недругу. Потому что так хорошо то, что видел.

*

Сегодня мы идем к реке веселой толпой. Нас много.

Девушка Лена, девушка Нина, девушка Оля. Что такое Оля? Да ведь это та самая Оля, которая, родивши на свет маленькую капризную девочку, умерла. У Оли лицо совсем белое, щеки и подбородок чуть розовые, а глаза — да ведь глаза действительно совсем черные. Она все время удивленно улыбается, все вокруг нее ласково и радостно. Когда я смотрю на Олю, то кажется мне, что если протянуть к ней руку, то, далеко еще не коснувшись ее, я уже коснулся Оли, которая вокруг нее. Неужели вы думаете, что она умерла? Когда она жила, я знал, что она не может умереть.

А Лена тоже всегда улыбается, потому что не может не улыбаться, она уже такой родилась. И это неправда, то, что ей говорила мать: «Ты всегда улыбаешься, морщины у тебя будут вокруг губ и будешь казаться старой». Ошиблась мама. Морщин

этих никто не видал, потому что никто не видал Лену не смеющейся.

Нина совсем другая. Она все прячет в себе и уже когда заговорит или засмеется, то все слушают и удивляются. А потом – Нина, как Нина, и даже в голову не придет, что она своим юным плечиком может поднять камень, который сотня человек сдвинуть с места не могут.

Но ведь это только три, а еще идут с нами: Люся красавица, Милица сердитая, та, которой бабушка всегда приносит вязаную кофточку, как только заходит солнце, Сима, которая быстрей всех бегает, другая Лена, всегда с книжкой, и Антонина Николаевна, двадцати лет, но уже замужняя.

А еще Аксютка, дочь нашей кухарки, из всех нас самая хитрая. Аксютка тем знаменита, что сама научилась читать и писать. Но только — случай непредвиденный — натолкнулась на букву «ё» и тут спросила все-таки, как эту букву пишут, а узнавши, что так же, как «е», — возмутилась и бросила учиться, но потом выдумала для обозначения этой буквы свой собственный значок.

Ну, вот, это наши дамы. А кавалеры – может быть, не стоит о них. Ну, все равно, заодно и о кавалерах.

Студент Демка — «Пугачев». Это он потому «Пугачев», что всегда его заставляли спугивать женщин. На Псле почему-то все купались на одном и

том же месте. Может быть, песку больше или течение тише, или так, по привычке, но во всяком случае купанье было здесь. Женщины купались до четырех, а мужчины — от четырех. А когда женщины чересчур закупаются и никакие мольбы и крики не помогают заставить их встать с горячего песка и, окунувшись в последний раз, одеться и уйти — тогда посылается Демка. Во-первых, он лохматый, как леший, а, во-вторых, он может плыть под водой так же хорошо, как на поверхности. Вот, он разденется где-нибудь далеко-далеко и под водою к самому пляжу подплывет, вынырнет и хохочет. Конечно, женщины кричат и разбегаются. Демка еще писал стихи и всегда сам чинил себе сапоги «из принципа».

Андрей — человек высокого благородства, преданный до самозабвения женскому полу. Лена один раз говорит: «Андрюша, съешь гусеницу — поцелую». А он взял да и съел. А Лена так-таки и не поцеловала. Это большой грех — ей дурно сделалось. Да и всегда дерзал на всякое дело по слову красавицы. Конечно, не про него писал Шиллер. Какая уж там в лицо перчатка — он бы и еще раз за ней на арену сбегал...

Дмитрий Сафонович — толстый господин, веселый, но строгий. Газету в воде читал. Лежит на спине и читает. Только кончики ног видны и газета. Скажете — неправда, но спросите Сергея Павловича. Он теперь пожилой человек, инженер, все

его уважают. А спросите про газету — тоже расскажет, да весь оживится, объяснять начнет, как это было, глаза даже засверкают. Тогда Сергей Павлович был еще просто Сережка. И уже тогда все предполагали, что он обязательно будет инженером.

Еще Гриня, умница превеликая. На медные пятаки учился, а такой знающий. Когда о чем заспорят и уже никак не решать спора — у Грини спросить надо: «Скажи, Гриня: вот он говорит, что если натянуть ниточку, такую тонкую, что и глазом не видно, и если эта ниточка такая крепкая, что порваться не может, — то, вот он говорит, что если слон через нее пройдет, то ничего не заметит, хотя она его перережет». Гриня отвечает внятно и спокойно: «Вы глупы». И все мечты рассыпаются. Сережа, математик, еще пробует сказать: «Но ведь это же подход к четвертому измерению!..» Но уже пафос спора рассеялся и все как-то стало ясно и уютно.

Был с нами еще Коленька. Неизвестно было, что он такое, этот Коленька. Но говорили, что у него доброе сердце. Вася, курчавый блондин, Борис, самый храбрый, и Константин — оперный певец. Самый старший Дмитрий Сафонович, сорока восьми лет. Самый младший Коленька, одиннадцати лет.

*

Шли весело. У Дмитрия Сафоновича мохнатое полотенце — один конец на плече, а другой за поя-

сом. Хотя шли мы не купаться, а на трех лодках ехать под самый Азак, с тамошними мужиками ловить неводом рыбу.

По дороге случилась одна незначительная история. Всегда как-то так получается, что корзинку с провизией или Милицину кофту или неизвестно зачем взятый Дмитрием Сафоновичем зонтик, — приходится нести мальчишкам, а взрослые выбирают, хотя с виду предметы большие, но гораздо более удобные. Весла, например, или шест какой-нибудь. Но ведь это и мальчишке сподруки — и прыгнуть можно, и верхом прокатиться. А тут Коленька нес корзину с пирожками, а Вася снял сапоги и говорит: «Подержи-ка», а сам пошел вперед. Хотя сердце у Коленьки доброе, но он возмутился обманом и сказал, что сапогов не понесет. Вася идет и посмеивается. Тогда Коленька положил сапоги на тропинку и сказал: «Вася, не понесу!». «Это еще что, — говорит Вася, — мальчишка взрослых не слушает. Неси, бунтовщик!». А надо сказать, что они разговаривали и шли вперед, а сапоги все удалялись, и когда совсем скрылись, Вася понял, что бунтовщик не пойдет за ними. Тогда начался длинный, неприятный разговор. Чем бы он кончился, я не знаю. Но Оля вдруг повернулась и пошла назад. И тогда все уже побежали за ней. Она бежала и смеялась. Коленька обогнал всю группу, поднял сапоги и уже безропотно понес их, так как теперь нес их для нее.

Есть по пути к новому Пселу мост, сложенный из досок, прибитых к кривым столбикам. Под мостом, неведомо откуда, течет прозрачная быстрая вода. Здесь совсем мелко. Вокруг обточенных камней вода поет свою веселую песнь. Если закрыть глаза, то кажется, будто играют любимый мотив на детской гармонике. В прозрачной воде мелькают пескари. Временами они собираются группами, будто кто-то командует ими — так ровно, спокойно, плывут они. Но вот, один сверкнет стеклянной стрелкой — и все рассыпятся врозь. И вдруг через мгновение опять выстроятся в стройный треугольник, подплывут к большому камню, с любопытством исследуют его со всех сторон. Если стоять в воде тихо, без движения, все эти рыбешки подплывут к вам и начнут осторожно, внимательно осматривать загорелые ваши ноги. Сначала одна рыбешка только коснется и скроется. Потом смелее и смелее. И вот уже вся стая вокруг вас. А посмотрите — два пескаря будто совещаются об этом странном явлении. Они пускают пузырьки и глаза их строго-деловиты. Но стоит шевельнуться — стая исчезнет и только песчаное дно, покрытое ракушками и обточенными водом камнями, будете видеть вы.

Наша команда разделяется на два лагеря: любители идти вброд и любители идти по шатким, неизвестно какой силой держащимся на столбиках доскам. Смеются все, кроме Андрея и Коленьки. Анд-

рей всегда на своих плечах переносит тех, кто боится идти через мост, и тех, кто ленится снять башмаки, чтобы идти вброд. А Коленька не смеется потому, что ему некогда смеяться. Он любит все, что окружает его. Задумчивая улыбка застыла на его лице. Это он стоит и смотрит на стеклянные стрелки вокруг его ног. Когда он двинется, чтобы идти за другими, он и тогда будет смотреть на белую пену, на брызги воды, на ракушки и камни. — Я знаю этого мальчика, он все замечает, ничего не пропустит.

*

Но вот мы уже на том берегу. Здесь сразу все по-иному. Растет только лоза или ракита, да серые пушистые лопухи. Тропинка такая узкая, что можно идти только по одиночке.

Непонятный речной запах. То ли от влажного песку, то ли от бесконечных хрустящих под ногами раковин, то ли ракита тонкая, стройная, гибкая, дышит этой свежестью. Лоза или ракита — это ни дерево, ни кустарник, ни камыш. Тонкие прутики ее, зеленые, красные, синие, наперебой тянутся к солнцу своими однообразными длинными листьями. Если кто идет впереди, пригнет одну ветвь и отпустит ее, она больно ударит вас по лицу, но ранить она не может — и рассердиться не на кого.

Если это Олю хлестнет тонкая лоза, Оля просто улыбнется. Лена засмеется и скажет: «Ой». Нина догонит идущего впереди и даст ему подзатыльник. А мужчины говорят всегда одно и то же: «Эй, вы там, потише». А когда придержишь рукой синий прутик и присмотришься к нему, то увидишь, что весь он покрыт нежной пыльцою, как крылья бабочки. Если отпустишь его, останется на нем блестящий след от пальцев и станет не то стыдно, не то неловко, потому что нарушил безукоризненность природы.

Сзади всех нас, конечно, Коля. Первый впереди его Дмитрий Сафонович. Между ними завязался невозможный разговор. Мальчишка утверждает, что никакого потопа не было. Потому что если бы был потоп, то одного количества воды было бы недостаточно для того, чтобы все живущее погибло.

— Куда же, — говорит он, — Дмитрий Сафонович, делись бы рыбы? Ведь они чувствуют себя в воде лучше, чем на земле. А крабы, лягушки, раки?

— Не знаешь ты, молодец, Писания. Сказано, что все, «что имеет дыхание в ноздрях»..., а рыбы дышут жабрами. Понял?

— Нет, не понял, за что же такая несправедливость, а потом тюлени, крокодилы, белые медведи... И разные ведь бывают, которые не жабрами, а ноздрями. Они что ж?

— Ишь, сакраменто! — смеется курчавый Вася.

Дмитрий Сафонович думает и говорит:

— Постой, одни живут в пресной воде, а другие в соленой, а тогда наверное все смешалось. Вот они и погибли.

Но здесь уже вмешалась Леночка, та, которая с книгой.

— Вот уж объяснили. Да есть рыбы, которые и в пресной и в соленой воде живут — угри, например.

— А вы, Елена Борисовна, не помогайте, и так уже плохо приходится.

— Как же? — напряженно настаивает Коля.

— У Грини спроси. Может, тогда угрей-то и не было.

— Скажи, Гриня (так всегда к Грине обращались), вот пристал с ножом к горлу мальчишка. Расскажи ему про потоп.

Гриня, слышавший разговор, ответил:

— Есть много оснований предполагать, что дождь был ядовитый.

Коленька задумался и уже задал вопрос самому Грине и уже по другому поводу.

— Скажи, Гриня, ведь если взять не только всякой твари по паре, а по одной, то ведь ковчег должен быть, как отсюда до Москвы, а говорят, что он был из дерева сделан.

Гриня опять ответил.

— В Библии сказано: по роду их, а это значит, лев, тигр, леопард животные кошачьей породы.

Следовательно, достаточно было взять двух котят и так же поступить и с другими.

— А! — воскликнул Коля и весь просиял.

Гриня пробурчал себе под нос:

— Чем только не забивают голову ребенка. — И потом весело обратился к Коле:

— Расскажи нам лучше что-нибудь из личной жизни.

Все рассмеялись и Коля тоже.

В это время прутья лозы начинали редеть, тропинка становилась шире. Плеши желтого песка виднелись все чаще. Подул какой-то новый радостный ветер. Мы подходим к Пслу. Еще один поворот, и вот перед нами песчаное поле. Между отлогих берегов бодро, с сознанием всей возложенной на него роли, сверкая сотнями голубых глаз, торопил свои волны к далекому старшему брату Днепру — Новый Псел. Его течение не было поспешностью. Если бы спешил он, то забыл бы многое; Псел ничего не забыл. Широко, размашисто сделал он выпуклый изгиб к широкому полю песка. Он плоско срезал берег, манящий войти в холодные волны. Справа, под ивами, с разгону подточил он упрямую землю, до самых корней деревьев, и благодарные ивы все ниже склонялись к его водам.

Псел знал, что старые рыбаки придут к его берегу. Он остановил свои волны и сделал тихую заводь, засадил ее тростником и золотыми кувшинка-

ми и покрыл зеленой пылью застывшую в ожидании воду. Но Псел ревнив в своей красоте, его правый берег так высок, что ничего уже нет, на чем бы мог остановиться глаз и что не относилось бы прямо к чудной реке.

Не понять, какая сила распахнула дверь в небо. Быстрыми прыжками заполняет оно пространство, и уже бесконечность не есть тоска по вечности, а радость о вечности. Но Псел упросил победное небо. Перед ним оно закрылось вуалью перистых облаков.

*

Теперь песок под ногами совершенно белый и ровный. Ветер расчистил нам широкую дорогу. Но чтобы не сбились мы с нее, следы какой-то речной птицы тремя глубоко вдавленными пальцами частой струйкой спешат к берегу. Под самой старой, совсем нависшей над водою ивой, привязаны три лодки: «Черепаха», «Чайка» и «Хвыля». Самая новая, самая лучшая и быстроходная «Хвыля». Сделал ее Борис. Долго мучился он над ее названием. Борис придумал это название, но никак не решался окончательно остановиться на нем. Мать говорила ему: «Ну что ж, "Хвыля" хорошее название. Почему же не хочешь назвать ее так, как придумал?» На это Борис мрачно отвечал: «Все равно, назовешь

ее "Хвылей", а девчонки будут называть ее "Хвилькой", а то и того еще хуже, "Филькой"». Наконец, после долгого раздумья, он написал на борту лодки белыми буквами «Хвыля». Но вышло так, как он предполагал.

У берега начался спор, кому на какой лодке ехать, и все девушки, конечно, хотели ехать на «Хвыле». А Коленька, слышавший, что плетью обуха не перешибешь, уселся с Дмитрием Сафоновичем на неуклюжую «Черепаху».

Только под тяжестью такого грузного человека, как Дмитрий Сафонович, «Черепаха» нехотя качнулась и обнажила борт, покрытый черной, приятно пахнущей смолой.

Все уселись. И первое время казалось, что запутавшиеся весла, крики недовольных пассажиров и обнаженная до пояса фигура Андрея, — представляют собою абордаж средневековых галер, и что вот сейчас прольется кровь. Но ничего подобного не случилось.

Только с отчаянным воплем курчавый Вася, поскользнувшись, упал в воду. Засмеялись все, отчего с другого берега, из мохнатых лопухов снялся чернокрылый чибис. Плавно покачиваясь в струях свежего воздуха, он не спеша поднимался к синему небу.

Пока все смеялись, Коленька уже стал серьезным, сощуренные глаза его следили за красивым

полетом птицы. — Я знаю этого мальчика, он ничего не пропустит, он все замечает. — Сейчас он следит своими серыми глазами за белой пушинкой, которая отделилась от птицы и кружится, не решаясь упасть на землю, ни улететь в высь. Так, думает он, летают поздней осенью белые паутинки над скошенным полем.

Но вот три лодки с трудом отчалили. Впереди пошла узкая быстроходная «Хвыля», «Чайка» с красным бортом, не отставая, тут же позади. Сразу отстала «Черепаха». На ней греб Дмитрий Сафонович — куда ему за Андреем, Борисом или Демкой.

В «Черепахе» было всего три человека. Он сам, Лена, которая всегда с книжкой, устроившаяся здесь, потому что не любит, когда «дергают и качают», и Коля, севший на корму за рулевого.

Нежным кружевом тянется от кормы шлейф белой пены. Волны постукивают о борт лодки. Коленька сидит вполоборота. Солнце освещает его белобрысую голову, просвечивая маленькое ухо, которое от этого стало, как лепесток мака. Коля перегнулся через борт и опустил свою руку в воду. Вода серебряными лентами вьется вокруг его теплых, слегка потных пальчиков. Он тихо смеется, ему нравится, как от его руки упругие струйки расходятся все шире и шире, сливаясь с волнами, отходящими от кормы по обе стороны лодки.

— Рули, — кричит Дмитрий Сафонович, — ...а то отстаем!

— Да уж и так отстали, — отвечает Коленька.

А Лена поднимает голову только тогда, когда перевертывает страницу. Оглянется и опять углубится в книгу.

— Про что в книге? — спрашивает снисходительно Коля, так, как будто бы ничего важнее того, что он знает, написать нельзя.

— Про одного замечательного мальчика, Давида Копперфильда, — отвечает Лена.

— А у него голуби были?

— Это тебе не Митрофан, — громогласно вмешивается Дмитрий Сафонович.

Коля, видимо, не считает нужным отвечать, но, услыхав от Лены, что голубей у Давида Копперфильда не было, разочарованный ответом, переводит глаза на песчаную косу, к которой приближается «Черепаха» и куда подходит стадо рыжих, черных и пегих коров. Одна, черная с белым лбом, до колен вошла в воду и неестественно вытянула шею. С губ ее тянутся радужные нити слюны, она следит своими разумными глазами за проплывающей мимо «Черепахой», медленно поворачивая голову за ее движением.

«Наверное, ее зовут Лыской», думает Коля, «и наверное, она так смотрит на Дмитрия Сафоновича».

— Пестрые скоты Заратустры, — вдруг говорит тот.

Лена подымает голову и не улыбаясь смотрит на коров.

— Я не знаю, кто был Заратустра, — говорит она.

Дмитрий Сафонович пространно объясняет. Колю, видимо, заинтересовали только слова о сверхчеловеке, и он, нехотя, как бы с трудом, спрашивает:

— А он Христу молился?

— Кто?

— Да сверхчеловек.

— Заратустра не был сверхчеловеком, он был мудрец и молился солнцу.

— Разве солнцу молятся? На солнце смотрят, когда оно заходит, — уверенно говорит мальчик.

Дмитрий Сафонович, чуя недоброе, таращит глаза, топорщит усы и, налегая на весла, многозначительно говорит:

— Солнце свет и тепло — начало всякой жизни.

— А как же, — продолжает Коля, — свет создан в первый день, а солнце во второй? Откуда же свет? — Видимо, мальчик давно о всем передумал.

Лена, предвкушая удовольствие, улыбается, точно облизывается.

Но Дмитрий Сафонович меняет тактику.

— Ну, ты, видно, молодец, Закон Божий учишь и знаешь, отвечай-ка вчерашний урок.

Коля быстро и охотно рассказывает про Вавилонскую башню, увлекаясь, объясняет, какой она должна была быть: конусом вверх, ярусами, из маленьких таких кирпичиков, один к одному, — так ему представляется.

Когда он кончил, Дмитрий Сафонович серьезно говорит:

— Отвечай позавчерашний урок.

Позавчерашний урок был по катехизису, который Коля не любит и не понимает. Коля начинает отвечать, но путается и, сбившись, сердито замолкает.

— Позавчерашнего урока не знаешь, потому и сомнения! — победоносно провозглашает его противник.

Лена смеется, Коля смущен. На этот раз Дмитрий Сафонович торжествует. Он громко хохочет и смех его катится по реке, ударяясь в крутой берег, чем приводит в замешательство стрижей, которые прорыли в желтой стене отвесного берега круглые дыры и теперь сыплются из них, разлетаясь в разные стороны. Их однообразные беспокойные крики издали похожи на звуки, которые слышишь у себя дома, когда весною протирают тряпкой раскрытые окна.

Но вот красный борт «Чайки» понемногу стал приближаться. Видимо, лодки, ушедшие вперед, остановились.

«Черепаха», охая и вздыхая, медленно подплывает к беспокойной компании.

Видно, как у берега копошатся какие-то новые люди. Это крестьяне Кургана, с утра поджидающие своих гостей.

В этом месте Псел образовал широкий залив. Справа в его свежие волны врезалась песчаная коса, далеко отходящая в глубь живой земли, переходя в дикий, поросший исполинскими осокорями и густым кустарником берег. Здесь течение реки остановилось. Вода сплошь покрыта зеленой ряской, которую так любят домашние утки, золотыми кувшинками и белыми лилиями. Эти торжественные цветы кажутся фарфоровыми, их белые плотные лепестки по краям слегка розовые, ближе к воде, переходят в оливковый цвет и, наконец, в коричневый — дымчатый цвет датских статуэток. Непроницаемая тень покрывает тихий залив.

Русалки при приближении Дмитрия Сафоновича попрятались в речную глубину, и Коля с упреком смотрит на него. «Черепаха» стукается о борт «Чайки». Люся-красавица уже собрала большой букет белых лилий. Коля нагибается, чтобы сорвать одну.

— Если для меня, Коленька, то только с длинными стеблями, — говорит Люся.

Коля до плеча опускает руку в ледяную воду. Круглый стебель скользит и уходит в сторону.

Наконец, цепкие пальцы ловко поймали его. Когда Коля потянул к себе стебель, он сладко чмокнул и неожиданно легко оторвался. Держа в руке белую лилию, мальчик осторожно снимал другой рукой со стебля назойливо липнущую тину и водоросли. Цветок дышал болотной ночью. Коля долго разглядывал его золотое сердце, где притаился черный жучок, и, аккуратно смахнув его пальцем, подал лилию Люсе.

На берегу, совсем низко, на ветвях молодой осины, прыгала серая птица, то головой, то хвостом поглядывая вниз. Ежевика над самой водой, в своем старании быть совсем черной, — казалась голубой — в этих двух цветах есть какая-то братская дружба. Незабудки — по колена в воде — были неестественно велики. Высокая острая трава покрывала почти весь берег, местами собираясь в лужайки, но далеко от берега вглубь она не решалась отойти. Чуть дальше кончались владения водяного и начиналось царство земли.

Из лодок помогал выходить высокий рыжий парень, веселый и добрый, как сенбернар. Гриня, прыгнув на берег, дал ему рубль. Видевшие заговорили по-французски: «нехорошо развращать народ». Коленька, не находя в этом ничего дурного, одобрительно посмотрел на Гриню. А рыжий парень, которому Аксютка успела что-то шепнуть, сам заговорил по-французски. Подавая свою огромную,

Минина—Пожарского, руку робко ступавшим барышням, он на разные лады приговаривал «жевузем». Чернобородый мужик привязывал лодки и складывал весла. Впрочем, эти люди смотрели на нас, хотя и без всякой злобы, но как на себе подобных, спустившихся к ним с другой планеты.

Свое право на жизнь они завоевали тяжелым трудом по библейскому закону — в поте лица своего — по закону земли. Поэтому круглый живот Дмитрия Сафоновича был просто чужд их пониманию.

За своих они почитали Аксютку, уже стоявшую на берегу и спорившую с чернобородым мужиком о том, что грузил на неводе мало и что мужики ее, Аксютку, обманывают, и Коленьку, который проявил прямой интерес к их личностям, сравнив рыжего парня с Гулливером и попросив у черного позволения дотронуться до его курчавой бороды: «как барашек», проговорил он, прикоснувшись.

*

Невод бросали с острия косы, обводя им довольно большой полукруг против течения воды и притягивали затем к песчаному берегу, вытряхивая содержимое. На маленьком челноке, управляя одним веслом, Гулливер сыпал в воду бисер квадратиков огромной сети. Пробки многообещающе намечали полукруг захваченной неводом реки.

Коля в белой рубахе с завернутыми выше колен штанами стоял поодаль, войдя в воду по песчаному отлогому берегу. Его стройная фигурка на фоне быстрой реки казалась бесконечно родной, такой радостной и нежной. Если есть это — то был когда-то рай или когда-нибудь будет.

Не принимая участия в ловле, он с напряженным вниманием следил за всеми маневрами рыбаков. Он думал, что от крика и гама вся рыба далеко уплыла отсюда. И он немного радовался этому.

Чем ближе подтягивали сеть, тем определеннее казалось, что она полна рыбы, так сильно раздувало ее течение реки, боровшейся против пяти дюжих молодцов, тянувших за конец веревки.

Еще невод не показался из воды, а Гулливер уже зычным голосом крикнул: «Пусто...» и опять сначала.

Коля подошел ближе. Теперь он что-то соображал, зрачки его стали черными, верхняя губа резко вздрагивала и синие жилки вздулись на висках.

Если бы кто-нибудь, хорошо знающий Колю, взглянул бы на него сейчас, то ему стало бы страшно за этого мальчика. Будто непосильно трудную задачу решал он или вспоминал только что забытое, такое нужное, — самое главное слово. Вот оно плавает вокруг, трепещет перед глазами, вот он поймал его, но оно ускользнуло и уже издали смеется над ним... И в голове звенит и ноги слабеют.

И вдруг он как бы решился на что-то. «Сюда, закиньте сюда...», — задыхаясь, выкрикивал он.

Гулливер и черный в недоумении остановились.

— Что с тобой, Коля? — строго спросил Гриня.

— Сюда, Гриня, по правую сторону, пожалуйста, — сдерживая себя, но по-прежнему настойчиво просил Коля.

— Надо послушать Колю, — сказал чернобородый мужик, и Гулливер уже повернул свей челнок направо, сыпя через руку квадратики невода в быструю воду. Сети стали тянуть к берегу. Теперь Коля с недоумением, вопросительно оглядывал окружающих и виновато улыбался. Он шел к сетям, но интерес его к улову не соответствовал предшествовавшему волнению, как будто бы самое главное уже было позади.

Сети по-прежнему раздувались, казалось, они разорвутся на части.

Пробки невода безучастно плавали сверху, исполняя добросовестно то, что он них требовали.

Но еще далеко от берега Гулливер крикнул: «Пу-усто...»

Сети рассыпались на мокром песке и Коля подбежал к рыбакам.

Мелкая рыбешка серебрилась сквозь складки сетей... Один шелишпер, захваченный поверху, как заводная игрушка, подпрыгивал в воздухе, приближаясь к воде. Оля, подняв его, с сожалением рас-

сматривала длинную глупую головку, потом осторожно у самого берега бросила его в воду. Коля тяжело вздохнул и отошел прочь, туда, где начиналась живая земля.

Гулливер повернул лодку влево и опять бисером посыпались квадратики.

А на песчаной косе остались водоросли и тина, из которой Оля, старательно выбирая серебряных рыбешек, бросала их в воду.

Одни из них, как бы ни в чем не бывало, ныряли в глубину реки, другие, перевернувшись на бок, всплывали на поверхность и одним глазом смотрели на солнце.

*

Коля не спеша возвращался к своему месту поодаль от рыбаков. Лицо его было серьезно, но теперь он как будто не замечал окружающих. Проходя мимо Оли, он все-таки поднял одну рыбешку и лениво бросил ее в воду. Рука его безжизненно опустилась...

Он даже не слышал, как Вася быстрым шепотом, прерываемым смехом, объяснял Демке план своей смелой шутки. Демка должен был раздеться и, проплыв под водою, пойматься в сети в тот момент, когда их подтянут к берегу.

Сережа-математик, расчистив сухой песок, играл с Милицей в кремешки. Эта молчаливая девоч-

ка удивительно хорошо управляла своими движениями. Высоко подбрасывая один камешек, она в четыре угла успевала положить остальные и с такою же легкостью собрать их, поймав летящий камешек, который делал приятное «цок», падая в ее ладонь, подставленную пригоршней. Сережа-математик только вздыхал. Он хотел позвать Коленьку, единственного соперника Милицы, но видя его мрачное настроение, промолчал.

Константин, потеряв всякую надежду на удачный улов, ушел с Антониной Николаевной за ежевикой. Из лесу неслось его мелодичное «ля донна э мобиле». Дмитрий Сафонович растянулся на песке, выпросив у Лены «Давида Копперфильда», которым и прикрыл свое лоснящееся лицо от солнца.

Борис, «самый сильный», — в компании трех барышень, показывал свою ловкость, бросая плоские камешки по течению реки: «В длину или в высоту?» — спрашивал он. — В длину камешек далеко летит над самой рекой, ударяясь о воду, он слегка подскакивает и потом мелкими прыжками катится дальше, под конец резко зарываясь в воду, всегда немного наискось. В высоту — камешек, ударяясь о поверхность воды, высоко взлетает в воздух и стремглав падает вниз. «Этот еще выше!», говорит кто-нибудь.

•

Закидывали сети в последний раз. Андрей, по пояс в воде, выправлял невод.

Гриня с бородатым мужиком перехватили брошенную Гулливером веревку и начали тянуть невод, изредка ударяя натянутой как струна веревкой по воде. Это называется — пугать рыбу.

В полукруге закинутой сети перочинными ножичками взлетают шелишперы. Большой голавль высунул свою морду, но, испугавшись пробки, повернул назад.

— Наша-а, — завопил Гулливер.

Все встрепенулись и побежали к краю воды.

Сети как-то по-иному раздувались, и не поддаваясь усилию, теперь уже не одного Грини, а и всех других, казалось, вот-вот пересилят тянущих и увлекут их за собой на дно реки. В них чувствовалась страшная сила. Тысячи жизней боролись за свое спасение. С разных концов реки, посланная славить Бога жизнь слилась здесь в одно целое, могучее, казалось, непобедимое.

Огромное тело щуки перевернулось поверх своих вечных жертв и скрылось опять среди мелкой рыбы. Красноперки мелькали огненными плавнями, широченный язь выплеснул из воды и перевалился через край невода.

Воды становилось меньше. Люди побеждали. Гулливер подцепил за жабры большеголового черного сома и, протягивая его Дмитрию Сафоновичу,

громко смеясь, прокричал на своем родном языке: «він ще більше тэбэ». Чернобородый мужик по горло залез в воду и не идущим к нему фальцетом выкрикивал: «Ой, прорвэтся». И сети действительно прорвались. Часть улова ушла. Но и после этого, когда невод распластался на желтом песке, я никогда не видал такого количества рыбы.

Солнце, светившее уже наискось, освещало живое серебро, сыпавшееся из сетей и покрывавшее мокрый песок. Серебро мелькало в воздухе, трепетало на земле, просвечивало сквозь темные сети.

Тут были и с синими спинами карпы, не умеющие умирать, тяжело дышавшие, с тупыми, упрямыми мордами.

Плотва с красными перышками, казалось, сияла на солнце.

Голавли с полными ненавистью янтарными глазами, широкие лещи, лежащие среди узких зеленоватых уклеек. Щуки, большие и маленькие, язь и окунь, огольцы, бычки и пескари. Все живой грудой серебра рассыпалось по земле.

Казалось, что Псел отдал все свои богатства сразу.

Девушки ахали, вскрикивали, мужчины смеялись. Гулливер и черный суетились с счастливыми лицами. Дмитрий Сафонович, прижимая к груди своего сома, запел.

— Улов галилейских рыбаков, — пошутил даже Гриня.

В это время позади рыболовов раздался крик.

Всеми забытый Коленька, стоявший поодаль, всплеснул руками и навзничь упал в воду.

Сразу последовавший другой крик, похожий на «караул», вывел всех из мгновенного оцепенения: «Ко-ленька» — это закричал Дмитрий Сафонович. Никто бы не мог ожидать такой прыти от этого грузного человека; в два прыжка он очутился там, где упал мальчик. И пока Гриня и Гулливер еще бежали, он поднял мальчика из воды и нес его на берег. Что-то трогательное было в этом большом человеке, с красным лицом, с опущенными вниз седыми усами, прижимавшего своими пухлыми розовыми руками, покрытыми черной шерстью, маленькое тело белобрысого мальчика.

Голова Коли была опрокинута назад; руки безжизненно висели, безучастно покачиваясь при каждом движении; плечо упиралось в висок.

Мальчик и фигура его спасителя представляли картину в своем противоречии доходящую до совершенства.

— С ним солнечный удар, — повторял, тяжело дыша, Дмитрий Сафонович.

— Да положите же его, наконец, — почти крикнула Оля.

Но Дмитрий Сафонович, неловко поворачива-

ясь, все еще прижимал к волосатой груди не приходившего в себя ребенка. Наконец, Коленьку уложили прямо на дно «Хвыли». Дмитрий Сафонович опустился перед ним на колени, брызгая ему в лицо водой, он причитал вполголоса: «очнись, Коленька, очнись, пожалей нас!»

Гриня почтительно отстранил его рукой и уселся с Борисом за весла. В переполненной рыбой «Черепахе» Дмитрий Сафонович устроился на корме и, пошептавшись с Гулливером, дал ему три рубля.

— Поспеем, — сказал парень, и действительно, лодка не отставая пошла за «Хвылей».

На берегу усаживались остальные. Чернобородый спрашивал Аксютку: «А хлопчик его, что ль?» — «Не его», — сердито отвечала Аксютка. — «Ишь ты, а как он...» — и чернобородый, не умея выразить мысль словом, не договорил, приложивши к сердцу свою загорелую руку.

— Словно катафалк, — сказал Вася. И действительно, белые, выцветшие борта лодки, покрытые снизу черной смолой, и груда серебряной рыбы посредине, придавали «Черепахе» похоронный вид.

Гладко скользящая «Хвыля» и прыжками следовавшая за ней плоскодонная лодка быстро удаляясь, спешили домой.

*

Вечером Коля лежал в своей — окнами в лес — комнате.

Только что вышедший от него земский врач Зильберник объяснял его матери, делая механические жесты короткими руками:

— Это не удар, удар не так, это другое... Много говорит? Пусть говорит. И вообще что хочет... Нервный мальчик... завтра приеду. Это не от солнца.

— Доктор, можно к больному, — спрашивает у двери Гриня.

— Очень можно, он не болен, завтра приеду...

Гриня вошел в комнату и, тихонько притворив дверь, сел у Коли в ногах.

Коля молчал, ожидая, что спросит Гриня.

— Когда ты просил закинуть сети по левую сторону, — начал Гриня, — о чем ты думал? — Мальчик заметался на кровати.

— Ты же знаешь, Гриня, я не думал, мне представлялось... Тогда у Геннисаретского озера, они ничего не поймали за целую ночь, а Он сказал, и поймали так много, что сети прорвались. Я не хотел, как Он, я загадать хотел, Гриня. Могло же быть?

— Загадал и не вышло?

— Не вышло... а потом мне показалось, что я что-то очень дурное сделал, что это, Гриня?

— Говори дальше.

— Когда вы закинули сети в последний раз, я смотрел и мне стало грустно, что больше никогда

не будет того, что было *«тогда»*. А потом вся эта рыба... И все, что я раньше думал в один миг, как пламя, и какие-то блестки перед глазами, и блестки в сетях, все слилось, а дальше не знаю. Ты прости меня, Гриня, ведь это потому что я загадал?

Гриня взял со стола книгу и прочел: «...и поставил Его на крыле храма, и сказал Ему: если ты Сын Божий, бросься вниз отсюда, ибо написано: "ангелам Своим заповедую о Тебе сохранить Тебя, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею". Иисус сказал ему в ответ: не искушай Господа Бога твоего».

Закрыв Евангелие, Гриня внимательно посмотрел на мальчика.

— А если бы Христос бросился вниз, то разбился бы? — спрашивает наконец Коля.

— Непременно разбился бы.

— Потому что, «если»...

— Потому что нельзя пробовать, а надо верить.

— А ты думаешь, Гриня, что и меня тоже черт?

— Может быть.

— А черта нет?

— Нет.

— Значит все я сам?

— Ты все сам, Коленька.

— Ну, иди теперь, Гриня, я разберусь, мне не нужно.

Гриня ушел, и огромная фигура Дмитрия Сафоновича протиснулась в двери.

— К тебе можно, Коленька? Я вот здесь на кресле... Тебе свет в глаза... — И Дмитрий Сафонович, поправив лампу, уселся у Колиного изголовья. — Тебе лучше, Коленька?

— Мне хорошо, совсем хорошо. А живые плотички есть, с красными перышками?

— Есть, много есть, я тебе отобрал всяких. И уклеек, и окуней, и карпов.

— Дмитрий Сафонович, а покажите мне того сома, что вам Гулливер подарил.

— Сейчас, Коленька,— и Дмитрий Сафонович побежал за сомом. В дверях он столкнулся с Гриней.

— Ты еще здесь?

— Да, я подожду немного, потом пойду рассказывать им.

Дмитрий Сафонович вернулся с сомом. Пятнистое тело большой рыбы обмякло, но по-собачьи умные и покорные глаза еще блестели.

Коля гладит большую липкую голову рыбы и говорит: «как кит...»

— Как кит, проглотивший Иону, — вторит Дмитрий Сафонович.

— А как же, — начинает, лукаво улыбаясь, Коля, — у Брема написано, что кит питается мелкой рыбой, потому что горло у него узкое и он с трудом проглатывает две селедки сразу?

Дмитрий Сафонович загорается. Держа одной рукой сома и делая другою широкий жест, он убедительно говорит: «Да еже в Священном Писании было бы сказано, что не кит Иону, а Иона кита проглотил, то и тогда бы я поверил».

За дверью слышны удаляющиеся шаги Грини и его сдержанное восклицание: «ах он, сукин сын!..»

Коля смеется, не зная, относятся ли эти слова к нему, к Ионе, к киту или к Дмитрию Сафоновичу.

Разговор завязывается, затрагивая самые неожиданные вопросы.

Я знаю, он будет продолжаться до полуночи.

А мне пора спать.

Папоротник

Сегодня Дмитрий Сафонович поднялся рано утром: ему давно хотелось проверить, почему у Катюши, большой симментальской коровы, убавилось молоко.

Не спеша, он пошел наискось через двор к деревянной изгороди, из-за которой смотрели на него несколько крупных, чужеземной породы, коров. Песок, по которому вчера трудно было идти, за ночь остыл и на торчавшей кое-где траве и одуванчиках, искрилась роса.

Как всегда ранним утром, было особенно тихо — каждый звук сам по себе. Красноголовый дятел на ржавой сосне выбивал равномерную дробь; белка, которую в другое время дня нигде не увидишь, сидела на нижней ветке и, неосторожно уронив сосновую шишку, подавала своими лапками убедительные знаки, — то ли выражая досаду, то ли прося поднять уроненную игрушку. Серая Розька, не привыкшая видеть барина в такой ранний час, прогремела непомерно тяжелой цепью и тявкнула, повизгивая и зевая.

Высоко в небе легкие облака, окрашенные в нежно розовый цвет, замерли в ожидании первого луча июньского солнца. И когда девка Параша вышла, позвякивая двумя ведрами — голубым и серебряным, — луч солнца скользнул по ее рыжим волосам, по стволам рыжих сосен, по маленькой рыжей белке, и червонное золото замелькало во всех концах большого двора.

— Доброе утро, Дмитрий Сафонович, — крикнул знакомый насмешливый голос. Дмитрий Сафонович поднял голову и завертелся на месте.

— Я на крыше!

На откосе зеленой крыши, прижавшись к побеленной трубе, стоял Коленька.

Дмитрий Сафонович удивленно смотрел на мальчика.

— Что же ты в этот час делаешь на крыше? — наконец выговорил он.

— Поднимайтесь ко мне, тут хорошо, я на крыше клад нашел.

Дмитрий Сафонович, с опаской ступая по тонким перекладинам лестницы, стал подниматься на крышу. Коленька ободрял своего грузного друга; Розька подняла кверху морду и залилась одобрительным лаем; Параша, держа левой рукой ведра, правой сделала козырек над глазами и внимательно следила за неловкими движениями барина. Дмитрий Сафонович ступил на железный лист кры-

ши и, гулко шагая, направился к белой трубе, на самой верхушке которой торчал приделанный им шпиц из толстой проволоки, прикрепленный прямо к железному околышку трубы. Это называлось громоотводом. Никакого продолжения к земле от этого шпица не было. Он торчал вызывающе прямо в небо.

— Греми, греми, — в наш дом не попадешь! — самодовольно говаривал Дмитрий Сафонович. — И действительно, этот дом уцелел от грозы.

— Что же ты тут делаешь, однако? — повторил свой вопрос Дмитрий Сафонович.

Коленька заговорил быстро и радостно, что редко с ним случалось.

— Я? Восход солнца встречаю, отсюда все небо видно и все вокруг до Боромлевской водокачки. Смотрите! Облака, когда я пришел, были синими. А вот теперь — золотые — отогрелись!

Дмитрий Сафонович поворачивает голову за рукою мальчика и внимательно слушает. За сорок лет он впервые увидал восход солнца.

— Да ты что же, часто так рано встаешь?

— Часто.

— Кто же тебя научил этому?

— Люся.

— Люся? Да что ж это она?

— Она говорит, что люди потому злы, что не принимают участия в рождении дня.

— А Люся, значит, тоже по утрам на восход смотрит?

— Да.

— Ты что ж, ее любишь?

Мальчик смотрит на своего друга, держится рукою за громоотвод и, скользнув глазами по освещенной солнцем земле, говорит:

— Она лучше всех и все, что мы видим, это ее. Если бы она сказала убить вас, Дмитрий Сафонович, я бы убил.

Дмитрий Сафонович отшатнулся в удивлении, усы его задергались и губы беззвучно шевельнулись.

— Да ведь она же не скажет, — успокаивающе и почти с сожалением говорит Коля.

— Ой, молодец, не сотвори себе кумира и всякого подобия.

В этих словах мальчик усматривает обиду. Он краснеет и скороговоркой отвечает:

— Кумира — может быть, а всякое подобие вы уж для себе поберегите.

— Да ты что это? — Никогда еще мальчик не говорил так резко.

— Сколько тебе лет?

— Тринадцать, а Люсе четырнадцать; но есть три дня, когда мы с нею ровесники: я родился пятого августа, а Люся восьмого, — это три дня — самые лучшие в моей жизни.

Коленька осторожно пошел по откосу крыши к торчавшим концам лестницы.

— Куда ж ты теперь, спать?

— Нет, собирать ночные подарки.

— А меня возьмешь?

— Конечно, возьму, — радостно улыбается Коля.

Оба подошли к лестнице.

— Осторожно, Дмитрий Сафонович, давайте я первый, если уж падать, то пусть лучше я.

— А как же убить хотел?

— Это вас-то? Я пошутил.

«Пошутить-то ты пошутил», — думает, слезая с лестницы Дмитрий Сафонович, «а поперек твоей дороги не становись!»

За цветником роз, который перед большой террасой старого дома, начинается аллея Владимировской вишни. Когда в ясный весенний день подходишь к цветущим деревьям, рассаженным по обе стороны узкой песчаной дорожки, — белые ветви сплетаются над головой. Еще издали слышится торжественный звук органа. Мохнатые пчелы собирают мед. Их так много, что белые ветки шевелятся как живые: каждое движение их плавно и роскошно. Среди белизны их цветов проступает синее небо. Очарованный смотришь и слушаешь и хочется снять шапку и перекреститься. Пройдя снежный коридор, выходишь к повороту, ведущему к пруду. Здесь по обе стороны песчаной дорожки вырыты

круглые, аккуратные ямы для посадки новых фруктовых деревьев. За ночь в эти глубокие ямы набирается всякое ночное зверье. Вот за этими подарками ходит по утрам Коля.

— Ежик, ежик, — вскрикивает он, легко прыгая на гладкое дно ямы: — Ежичек ты мой серенький, — и мальчик кладет на свою маленькую ладонь тяжелого, как чугунная вьюшка, зверька. Ежик совсем не боится Коли, он вытягивает свою хитроватую мордочку и поворачивается то в одну, то в другую сторону. Коля целует ежика, накалывая губы об его острые иглы.

— Держите, Дмитрий Сафонович.

— Да куда ж мне его? Пакость такую.

— А в картуз. — Коля протягивает свой новенький картузик озадаченному другу.

— Жерлянка, две... — и на ладони мальчика появляется черная лягушка с ярко оранжевым брюшком. Липкая лягушка тоже отправляется в картуз. Очередь за полевой мышью, рыжеватой с двумя черными полосками вдоль круглой спины. Ей как будто наскучило сидеть в яме и она тоже не противится Коле. Уже картуз полон, а таких ям много до самого пруда. Попадаются тритоны, ужи, за ними — большие зеленые кузнечики, желторотый птенец, ящерицы и, предел Колиных желаний — маленькая древесница. Эта изумрудная лягушонка сидит на Колиной ладони и часто, испуганно дышит. Черные

линии, идущие от ее глаз, делают выражение ее мордочки насмешливо-лукавым. Неожиданно она делает невероятный прыжок и Коля ловит ее среди кустарников и высокой травы.

В последней яме Коля находит бархатного крота. Зверек, свалившись в яму, видимо, рассчитал, что на такой глубине зарыться в землю опасно — не выберешься.

Коля очарованный смотрит на слепого крота, прижавшегося к глиняному дну ямы.

Сколько раз мальчик слыхал от Лены мечтательное восклицание:

— Эх, как бы крот-а-а поймать!

Сегодня он обрадует Лену, принеся ей таинственного зверька.

— О, Господи, зачем тебе все это? — вздыхает Дмитрий Сафонович, в руках которого теперь не только картуз, а и Колина рубаха, с перевязанными рукавами, в которой шевелится странная звериная компания. Вечером часть этих зверушек будет рассажена в аквариум, а часть выпущена на волю.

Коля, щурясь, смотрит на солнце и торопливо выпрыгивает из последней ямы.

— Дмитрий Сафонович, — умоляюще говорит он: — Отнесите их в мою комнату, мне бежать надо.

— Куда?

— У меня сегодня особенный день. Люся ска-

зала, что если на «Хвыле», то поедет со мною. Не знаю, удастся ли?

— Тебе удастся, — убежденно говорит Дмитрий Сафонович.

*

Коля бежит к пруду, на лету срывая золотистую травку: «петушок или курочка?». — Задача предстоит ему не легкая.

Он часто слышал в разговорах старших слова, произносимые со вздохом подчинения: «Плетью обуха не перешибешь». Ему представляется безразличный ко всему деревянный столб, перед поторым он в раздумьи стоит с маленькой, гибкой плетью. И теперь, подбегая вприпрыжку к мосту, перекинутому через зеленый рукав озера, еще с издали увидав сидящего с удочкой брата Андрея — Андрей представился ему обухом, равнодушным ко всему трепещущему, живому. Коленька любил своего простодушного брата. Тогда он не знал еще, что даже совесть должна быть проверена разумом, и брат Андрей — рыцарь без страха и упрека — казался ему несравненно лучше и прекрасней его самого; но в то же время смутное чувство возмущения поднималось порою к сердцу в самых пустяковых разговорах с братом. Теперь, делая вид, что случайно забрел сюда, он твердо знал, что секрета своего

Андрей ему не откроет. Дикое, странное здесь было место и даже днем страшное в своем безмолвии.

— Андрюша... Тишина какая, — говорит, подходя, Коля.

— Какая ж тишина? А эта птица «пить-подать», «пить-подать» — целый час пилит...

— Это пеночка... а про тишину я не то: тишина не тогда, когда ничего не слышно, а когда звук сам по себе, а тишина сама по себе...

— У тебя, братец, мозги навыворот.

— Да нет же, Андрюша, смотри сколько синих стрекоз; они здесь крылушками машут, и ничего не слышно, а там на солнце и стрекозы другие и жужжат. А на вербах, — Коля указал на сплетенные, как бы застывшие в предсмертной схватке деревья, — ни один лист не шелохнется — вот и тишина, а то, что пеночка, ты ведь сам говорил, что она пить просит, может быть, ей страшно?

— Чего ей страшно?

— А вдруг ты вместо рыбы русалку вытащишь?

— Ну и вытащу.

— Крючком за губу? А у ней кровь, и по лицу слезы!

— Русалки червями не питаются, — резонно замечает Андрей.

— Ну, а поймал ты что-нибудь?

В ведре плавают два мертвых карасика.

— Дай-ка мне удочку.

Коля вынимает из воды леску, как-то таинственно поправляет червя, передвигает поплавок и закидывает удочку ближе к камышам, где поднимаются пузыри и расходятся чуть заметные круги. Через мгновение он легко дергает удочку в сторону и, передавая ее Андрею, с досадою вскрикивает:

— Сорвалась, проклятая!

— Хорошо сорвалась! — радостно кричит Андрей и вытаскивает на мост огромного золотого карася. Сильная рыба прыгает по мостику, гулко стукаясь головой и спиною о доски. Братья ловят ее руками и водворяют в ведро, где она, стремглав ринувшись по кругу, замирает на дне, шевеля красными плавнями.

— Однако, это ты поймал, — после долгого молчания говорит Андрей.

— Да я же думал, что сорвалась! А если хочешь, разыграем ее в орел и решку.

Андрей соглашается. Коленька по особенному бросает медную копейку, и Андрей выигрывает.

— Жалость какая, — сокрушается Коля: — Ты уж скажи дома, что я тебе помогал.

— А, нет, теперь моя. Другую, если хочешь... — Андрей, приходя в благодушное настроение, слушает советы младшего брата, и рыба, как завороженная идет к нему на крючок.

— А когда ты тонул, Андрюша, — вдруг спрашивает Коленька, — тебе очень страшно было?

— Я об этом не люблю, — хмурится брат.

— О, как бы мне было страшно... Я тогда всю ночь не спал и все думал: дыхания уже нет и сил нет, а вокруг тина и руки мои, как тина, а сам еще все понимаю и думаю... И холодная вода — это я сам. А потом: — «и в распухнувшее тело раки черные впились»!

— Ну, уж не так-то, — нерешительно говорит Андрей.

— Я и сегодня из-за этого ночь не спал.

— Да с чего ж это ты?

— Я, знаешь, Андрюша, на Псел к пастухам хожу.

— Зачем?

— Учу их географии и глобус с собою ношу; сначала думали — мяч на палке, а потом поняли: а слушают как — даже совестно. Вот бы у нас в гимназии так.

— Это от глупости; когда каждую реку учить заставят, да все притоки, небось надоест. А чего ж ты не спал этой ночью?

— А вдруг тонуть кто станет, — я не вытащу.

— Чего ж им тонуть?

— Да ведь ты ж тонул.

Коля делает паузу, смотрит на поплавок и между прочим замечает:

— А лодка рядом!

— Какая лодка?

— «Хвыля».

— Она же заперта!

— Заперта и ты один знаешь секрет. А вдруг что случится!

Коля начинает говорить мечтательно, тянет каждое слово и смотрит в сторону. Он обнял руками колено, на которое положил свою белобрысую голову, держит в зубах стебелек и покачивает босой ногою, свесив ее с мостика.

— Не верим мы друг другу, Андрюша, а потом жалеем. Нехорошо тебе одному владеть секретом, когда твоему брату он нужен для душевного спокойствия и для спасения человечества от гибели.

Андрей смотрит на брата, — ему его жаль, он вытаскивает удочку, долго осматривает крючок и потом решительно отвечает:

— Не скажу.

— И не надо, — говорит Коля. — Не туда забрасываешь, вон окуни где, целая стая на твое счастье. А что, Андрюша, бесы тоже ловцами человеков бывают?

— Это как же?

— Да ведь, если Христос сделал апостолов ловцами человеков, то и черт, наверное, постарался? Ах, молодец!.. Смотри, какой... Туда же забрасывай... А я вот не понимаю тебя, как это ты гусеницу для удовольствия Лены съел, а ее не жалеешь?

— Как так не жалею? Это ты что?

— Да ведь и она со мною к ребятам на Псел ходит, Пушкина им читает... только баловство это, они потом у меня же спрашивают: «Чем дяденька Евгений занемог?» Хорошая она, Лена, и красивая, а только ее тоже учить надо, она ведь и плавать не умеет.

— Ну так и я с вами ходить буду, — заявляет Андрей.

— Вот еще... — пугается Коля: — всех дачников с собою приведи. Они и ее боятся!

Коля прерывает разговор и выразительно бормочет: «И в распухнувшее тело раки черные впились». Встает и медленно уходит.

Говорили у нас, что «Коленьке всегда везет» — на этот раз ему действительно повезло. Красный с белым перышком поплавок чуть отошел в сторону и, не дрогнув, стал плавно пускаться ко дну. Андрей решительно потянул удочку и на поверхности мутной воды показался огромный черный рак.

Коля увидел случившееся наваждение, но пересилил себя и той же походкой продолжал идти дальше.

— Куда же ты? — испуганно закричал Андрей. Несмотря на свое снисходительное отношение к младшему брату, он любил его общество; к тому же, неприятное чувство оставаться со своим секретом перед всенародным бедствием и грозящей Лене

опасностью овладевают им. Черные раки сделали свое дело.

— Чего ж ты от меня хочешь? — спрашивает он.

— Скажи мне, какое нужно сложить слово на твоем замке, чтобы отпереть лодку, — уверенно говорит Коля.

— Никому...

— Никому не скажу, — перебивает Коля.

— Поклянись «небом и землей».

— Этого нельзя.

— А что можно?

Андрей колеблется, но правдивый взгляд брата и всплеск большого окуня в ведре перетягивают весы в сторону Коли.

— Вор.

— Кто, кто вор? — заливается краской Коля.

— Слово на замке — вор.

— Ну да чего ж ты так? Вор, так вор, хорошо придумано. — И Коля меняет разговор, как будто ничего между ними не было.

— Хорошо на этом мостике весною на тяге стоять, только не люблю я охоты — и без крови всего добиться можно.

— Ну да, пойди, поймай.

— Конечно поймаю, только зачем мне...

Не спеша мальчик уходит и, только скрывшись за поворотом, бежит не оглядываясь. Он устал, он очень устал...

Люся живет в небольшом доме, который как-то не уместился в дачном городке и теряется среди уже довольно густого леса. — Так, если бросить колоду карт на пол, то обязательно одна отлетит в сторону и перевернется. Все крыши дачных домиков зеленые, а эта красная и почти сливается со стволами высоких сосен.

Люсю, несмотря на ее четырнадцать лет, часто наказывают и заставляют сидеть дома. Ее, впрочем, нельзя не наказывать. Вчера на маминых именинах две дамы так много говорили дурного о своих соседях, что девочка вышла из комнаты и умудрилась взлезть на крышу с полным ведром воды.

Когда мать провожала своих разодетых в пышные платья гостей и говорила привычные любезности, Люся над самым крылечком вылила на них ведро воды. К несчастью, девочка не рассчитала своих сил и вместе с ведром грохнулась на земь. Люсю оставили на целый день дома.

Это была стройная девушка, но чуть полная для своих лет. Девчонкой ее никто не считал. Нельзя говорить и писать о жемчужных зубах и синих глазах, да ведь синих глаз, все знают, никогда не бывает. И если бы такие глаза были, то ведь все вокруг в деревне и в городе, даже в Сумах знали об этом. И говорили бы примерно так: «Я видел девушку, у которой совершенно синие глаза». Каждый бы заинтересовался и спросил, где она живет

и как ее зовут, чтобы посмотреть на такие глаза. — У Люси были совершенно синие глаза.

Это, впрочем, легко проверить. — Если уцелела хоть одна парта из Сумской гимназии или кадетского корпуса, то вы обязательно увидите на ней: «Люся Ч.», «синеглазая Люся» или если просто «Люся», то это только потому, что учитель истории Чистосердов вовремя заметил чересчур прилежное лицо ученика, вырезавшего перочинным ножом имя красавицы.

Это тот самый Чистосердов, который, будучи в обиде на Коленьку за его московский выговор, задал ему вопрос о крещении Руси и, когда Коленька ответил, учитель спросил: «А о чем должен молиться истинный христианин?» Мальчик задумался и сказал так: «Мы должны молиться о том, чтобы расти церкви и отечеству на пользу, родителям же нашим на утешение».

— Нет. Садись.

— О чем же?

— Да о спасении души!

И Чистосердов поставил Коленьке единицу по истории.

У Люси были совершенно синие глаза. Не как васильки, не как море, не как лесные колокольчики, а про васильки, про море, про лесные колокольчики можно было сказать — как Люсины глаза. И это только тогда, когда васильки против света,

перед грозой, под нависшею черной тучей, говорят из позолоченной ржи: «Проходи мимо, тебе нельзя любоваться нами, сейчас грянет гром». И только тогда, когда смотришь на море с высоты скалистых гор Виль Франша и нужно зажмурить глаза, чтобы не ринуться вниз к тысячам переливов синего моря. И тогда, когда забредешь в лесу в такую глушь, где никто еще не был, и перед тобою лужайка с высокой, острой травою, растущей только около водянистых мест. И вдруг глянет на тебя колокольчик иссиня-синий, потянешься к нему, но черной лентой проползет бархатная змея между ним и тобой, и отдернешь руку.

Коленька, на всякий случай, неслышно подходил к дому. Собаки никогда на него не лаяли. Было что-то непонятное в этом расположении животных к мальчику. Ставни в Люсиной комнате были закрыты. «Конечно, наказана», подумал Коля и прокричал условный крик.

— Отопри, Коленька, хороший мой, — услышал он через закрытые ставни.

Коля снял крючок, нарочно приделанный на внешней стороне ставен, и Люся, опираясь на его плечо, легко прыгнула во двор, на еще покрытую росою траву.

Черноземная тропинка узкой стрелой вела к реке через чужие огороды, — пышные, нарядные, самодовольные. Оранжевая тыква, сказочной вели-

чины, перевалившись через плетень, белела своим не успевшим пожелтеть брюхом; малиновые бураки, по пояс в черной земле, буйной зеленью прятали пухлые гряды; как часовые, кое-где виднелись подсолнухи, и те из них, которые уже почернели, склоняли к земле отяжелевшие свои головы. Один, за плетнем Ивана Васильевича Долженко, явно властвовал над всем огородом. Долженко, самый бедный мужик на деревне, неведомо какими путями оставался потомственным дворянином. Про него рассказывали, что, ругаясь с мужиками, он бил себя в грудь и выкрикивал осипшим от пьянства голосом:

— Я, хоть и поганый, но все ж таки дворянин!

У него на огороде и вырос царь-подсолнух.

— Коленька, сорви мне подсолнечник!

Коля прыгнул через плетень.

— Нет, нет, вон тот, который на вокзальные часы похож.

Когда Коля ловкими руками стал вертеть то в одну, то в другую сторону царственную голову цветка, стебель лопнул и белая, влажная вата внутри его, издавая острый приятный запах, заискрилась капельками смолы. Нелегко было оторвать цветок от его могучего стебля.

— Ведь это же гордость его, — думал Коленька о потомственном дворянине.

— Ну, что же ты долго так?! — нетерпеливо крикнула Люся.

Мальчик, сорвав подсолнух, вложил в расщепленный стебель медный пятачок и записку:

— Это я, Коленька, не сердитесь, Иван Васильевич, грибов принесу.

Долженко, найдя эту записку, разгладил ее заскорузлыми пальцами, долго крутил своей тяжелой с похмелья головой и потом, взглянув на ласково, еще не ярко светившее солнце, неожиданно обратил свою речь к нему:

— Для кого светишь, для меня, что ль!.. Мальчонку гляди, жалей...

И погрозив небесному светилу — освещавшему «злых и добрых», — улыбаясь, приговаривал, вспахивая новую грядку:

— Грибов принеси, гриб, ежели он белый, или особенно рыжик, это хорошо... Грибов принеси!..

Люся отломила краюху подсолнуха и протянула Коле.

— Как ты узнал слово? — спросила она, ловко вынимая пальцами лиловато-черные семечки и надкусывая их крепкими зубами. Смеющиеся губы ее стали по краям совсем лиловые, но и это не нарушало прелести ее лица.

— Я его обманул: а вдруг Лена тонут станет.

— Лена? А если я?

— Ты не утонешь, разве ты можешь утонуть? —

Коля говорит искренно и убежденно. Такая мысль не доходит до его сознания. Это так же неправдоподобно, как если бы сказали ему: «Утонула луна или солнце».

— За что тебя сегодня посадили? — спрашивает он.

— Я на Милостановых ведро воды с крыши вылила.

— Не промахнулась?

— Ой, нет, окатила обеих и маме досталось.

— Плетью обуха не перешибешь, — замечает Коля.

— Еще как, я и без плети. Только упала с крыши и коленка болит...

Люся присаживается на ствол с корнями вырванного бурей дерева и трет слегка вспухнувшее колено. Жестом маленькой девочки она сдвинула ситцевую юбку наискось и обнажила сильные женские ноги.

— Я тебя полечу, — говорит мальчик и, нагибаясь, целует ушибленное место. Его шелковые волосы веером ложатся на Люсины колени, щекочут и ласкают их. Ей приятно его прикосновение; приятно думать, что это только для того, чтобы полечить, и приятно думать, что никому никогда, кроме него, она не позволит этого.

— Прошло? — спрашивает Коля и, откинув голову, весело взглядывает на Люсю.

— Прошло, Коленька, теперь пойдем...

— Посидим еще так, — и мальчик серьезно, почти строго смотрит Люсе в глаза.

— Зачем ты на меня так смотришь, Коленька? — говорит Люся, прикрывая мальчику глаза ладонью.

Коля начинает говорить через силу. Ему трудно рассказать о том, что он думает, но слова его медлительной речи звучат мечтательно и правдиво:

— Я, Люся, думаю часто все то же. Глаза... Как хорошо, что глаза! Они отражают весь мир. Что это? Слепой от рождения живет и знает, что видят, и ничего не знает. А Христос исцелил такого! Всю жизнь не видел и вот увидал звездное небо... Я бы умер, Люся! Помнишь, когда родились щенята у Розьки, их было четыре, они несколько дней были слепыми, но должны были все увидать, и к этому празднику готовилось вспыхнуть восемь звездочек на небе. Какое счастье ожидало этих зверушек... Но их утопили в старом колодце раньше, чем они прозрели. Люся, почему столько звезд на небе? Их много, много — это наши глаза, а Млечный Путь — глаза всех маленьких зверушек на земле. Это наверное так, в самом деле так! Правда?

— Не говори больше, Коленька. Я буду думать о том, что ты мне рассказал, и сегодня, и завтра, и еще после.

Мальчик и девочка, не спеша, пошли к реке. Время близилось к полудню. Когда они вышли на

раскаленный солнцем бугор, низкое небо представилось им траурной занавесью: от горизонта медленно и строго двигалась лиловая туча; края ее, освещенные солнцем, серебряной каймою скользили по голубому небу. Серые облака метались и сталкивались, набегая со всех сторон к самому сердцу грозовой тучи: одни свертывались в клубок змей, другие легкой дымкой кружились вокруг или, отрываясь, неслись в сторону, почти касаясь земли. На небе происходило колдовство.

— До дому не успеем добежать, — говорит Коля.

— Не успеем, — соглашается Люся и садится, обняв обеими руками колени, прямо на землю. Лиловый чебрец перед грозою в изнеможении дышит горячим воздухом, напоенным смолистым, дурманящим запахом. Коля присаживается рядом с Люсей, упершись руками в покрытую сосновыми иглами землю, и, вытянув ноги вперед, закидывает голову между плеч и смотрит на грозное небо. Ему тяжело и беспокойно. Тоска каждого произнесенного слова, каждой невысказанной мысли слилась в одной точке и дышать нечем и кажется, что это от этой тоски сгущаются на небе лиловые облака. Как прикованный, следит он, в какие грозные тучи сливается тоска его сердца. Вырвется ли она из груди и как вырвется?

Лиловая туча колыхнулась расплывчатым пламенем и по верхушкам гор не спеша прокатился

на колеснице Илья Пророк. Деревья, окаймляющие старый Псел, поклонились ему и черная листва их сверкнула серебряной подкладкой. Синие ласточки на белых своих грудках крылатыми салазками скользили так быстро по земле, что иногда, казалось, отделялись от нее и летели по воздуху, но вновь припадали к земле, взлетая на верхушку бугра с такою же легкостью, как и к подножию его.

Дети замерли в ожидании надвигавшейся грозы. На горизонте, где кончалась зелень луга, — небо глубокою шелковой летой опоясывало землю; над самой землею, в белых одеждах стояли златокудрые ангелы; легкая кисея спускалась с неба на землю и закрывала их мутно-туманной дымкой. С высокого бугра было видно происходившее движение среди небесного воинства: там о чем-то совещались... Ангел, с огненным мечом в руках, отделился от остальных и, пройдя чрез белую кисею, плавно полетел к нависшей над землею туче. Люся и Коленька видели его, пролетавшего по узкой, шелково-голубой ленте мрачного неба, далее он скрылся за краями грозовой тучи, летя к ее сердцу, — отчего все небо еще более потемнело и лиловая туча стала почти совсем черной. Страшным ударом меча ангел сверху пытался рассечь ее сердце, но огненный меч запутался в клубке крепко свившихся змей, и с земли было видно, как засверкало острие меча, напряженно чертя ослепительный

узор на черном небе. Как будто разорвали огромное полотно надвое — раздался оглушительный удар грома. И сразу сделалось легче и веселее. Наверное, колесницу Ильи Пророка, запряженную тройкой бешеных коней, вынесло из сыпучих песков на шоссе, проложенное графом Капнистом, от Лебедина до Михайловки, и она загремела по неумело положенному граниту железными своими колесами. Это знаменитое шоссе сохранилось и по сей день, только красные наши преемники называют его теперь на «Капнистова шаша», как говорили Михайловские мужики, а громким именем «автострада». Страда, впрочем, название хотя и жестокое, но более меткое, чем незлобивое слово «шаша».

Нестерпимый треск колес переходил в таинственный рокот только тогда, когда колесница Ильи Пророка въезжала на маленький деревянный мост и колеса ее катились по гулким дубовым доскам. Это тот самый мост, через который бежали от третьего, генерала Дроздовского полка, красноармейцы и которым понадобилось несколько ящиков динамита, чтобы взорвать его — в то время, как граф Капнист, после каждой пирушки, возвращаясь из Лебедина к себе в Михайловку, разносил его в щепы своей легковой машиной.

После первого удара грома Коленька облегченно вздохнул, а Люся тихо засмеялась. Теперь уже ангел рубил сплеча и меч его сверкал почти бес-

прерывно, четким зигзагом. Сердце грозовой тучи раскололось надвое и первые слезы ее свинцовыми каплями падали на землю, зарывались в пыли, пригибали молчаливые головки душистого чебреца и, задевая на лету печальные цветы высохшей мяты, разлетались мелкими брызгами.

— Бежим, Коленька... — радостно говорит Люся.

Коля смеясь вскакивает и бежит с Люсей к своему дому, где наверное, пересиливая страх перед грозою, Дмитрий Сафонович стоит на крылечке и ищет его глазами на дороге, теряющейся среди шумящих от набежавшего ветра сосен.

Стеклянные стрелы дождя все чаще вонзались в землю, сливаясь постепенно в сплошной сверкающий занавес, земля начинала отражать падающие стрелы и мелкие брызги прозрачной пылью поднимались над ней.

Люся прикрыла Коленьку своим плащом и теперь они бегут обнявшись по желтой дороге, где на впадинах образовались мутные лужи смешанной с пылью воды. Стрелы вонзаются в них с веселым свистом, отчего по земле идет звон, будто от беспрерывных поцелуев...

У могучей сосны, с непроницаемой ни для дождя, ни для солнца хвоей, Люся остановилась, все еще прижимая к себе мальчика. Коля затих, не откинув прикрывавшего его плащика.

Голова мальчика легла в отлитую для нее от ве-

ка колыбель, на теплой груди девушки. Кровь, беспорядочно стучавшая в висках, слилась с уверенным биением крови в теле молодой женщины. Коля знал в это мгновение, что он и она это одно. Все трепещущее существо его молило раствориться в ней навсегда. Люся, по-прежнему не говоря ни слова, стояла, обнявши мальчика. Голова его тихо скользнула вниз, раздвигая молодые груди девушки, и рука лежавшая на люсиной пояснице, ослабела.

— Мама, — прошептал он в полусознании и опустился на колени.

Это слово: «мама» хорошо расслышала Люся.

— Коленька, что с тобою, что ты, родной мой? — поднимая за плечи мальчика, испуганно, не бесконечно нежно проговорила Люся.

А стоявший за ними бархатный ангел, взмахнув крылами, улетел в уже голубевшую даль.

— Почему ты позвал маму, Коленька?

— Я тебя позвал.

— Мне послышалось, ты сказал «мама», — смеется Люся.

Коля смеется и ничего не говорит. Ливень прекратился. Гроза пронеслась над землею — гроза — радость земная. С высоких сосен падают отяжелевшие шишки, глухо стукаясь о намокшую упругую землю. Среди облаков показалось синее небо, а прямые лучи солнца каждую каплю на иглах сосны

превращают в радужные слезинки, которые вот уже много лет копируют немецкие мастера, делая для малых ребят стеклянные шарики, которых у Коли в кармане и дома целая коллекция.

— А ты думала, не будет дождя, — говорит Коля. — Теперь вот какие костры зажжем. Демка обещался смолы принесть... Я, Люся, через самый большой прыгну, через какой захочешь.

— А на могилу за папоротником пойдешь?

— Если скажешь, пойду.

— Ой, не ходи, Коленька, — страшно. Разве папоротники только там цветут? Нарочно выдумали, чтоб страшнее.

— Может быть.

— А хорошо, если бы найти этот цветок, я так и вижу его: середочка пунцовая, а по краям оранжевый — весь пылает.

Люся смотрит на Колю и с гордостью говорит:

— Ты, Коленька, обязательно найдешь.

Вечером на поляне раскладывали костры. Дети помогали взрослым. Натащили бревен и сучьев. Демка, как обещал, принес котел со смолою. Каждый суетился, тащил что-нибудь, или укладывал. Коленька, впрочем, ограничивался одними советами:

— Если котел со смолою поставить, как ты это делаешь, Вася, — сверху, то сучья прогорят и котел пе-

ревернется. Лучше сразу вылить смолу на бревна.

Вася ворчит, но соглашается. Вокруг костра все. Даже Дмитрий Сафонович приложил свою руку, вытряхнув из трубки золу в наложенный горою хворост.

— Если вы, Олечка, — говорит он, — прыгнете в вашем кисейном платье через костер, то вспыхнете факелом и сгорите как ночная бабочка.

— Я родилась, чтобы сгореть... — сочиняет стихи Оля.

— И чтоб, сгорев, опять родиться, — неожиданно продолжает Дмитрий Сафонович. Такой удали от него никто не ожидал, и Оля с удивлением переспрашивает:

— Как вы сказали? Опять родиться?

— И чтоб, сгорев, опять родиться... Сгореть, это, Олечка, то же, что зерно, которое, если не умрет, то не принесет плода, — переходит на любимую тему Дмитрий Сафонович.

А Демка, который «писал стихи», вмешивается в разговор и с видом знатока утверждает, что слово «чтобы» с упором на «бы» в стихах невозможно.

— Есть тайна слова, — говорит он, — которая не для всех доступна. Кто раз проник в эту тайну, — может творить... Слово беззащитно как ребенок и зло как змея... Можно сказать: «и ласточек крыла косые»... но нельзя сказать: «и крылья ласточек

косые»... Слышите ли вы: и-кры... Слова мстят и мстят с предательской украдкой!

— Ну, ты, Демка, слишком; как же сказать, чтоб и гладко и в рифму?

— А вы не говорите! Волки воют на луну без слов.

— Кто ж в рифму говорит? — задумчиво замечает Коля. — Стихи? Зачем они? Может песнь сложиться и потом все слушают и поют ее, и всегда хорошо, когда песнь сложилась, — она со всех концов сразу приходит.

— Что же ты называешь песней?

Коленька отступает так, чтоб ему было видно всех сразу, и читает:

Вчера я растворил темницу
Воздушной пленницы моей,
Я рощам возвратил певицу,
Я возвратил свободу ей.

Она исчезла, утопая
В сияньи голубого дня,
И так запела улетая,
Как бы молилась за меня.

— Кто ж это написал?

— Все равно кто. Написал одно и довольно.

— Так по-твоему, — обращается Демка к Коле, как к взрослому, — поэт больше двух стихотворений и написать не может?

— Ну, может быть, три или четыре.

— А Пушкин? — почти кричит Демка.

— Да что ты пристал к ребенку... — вступается Дмитрий Сафонович, — право спорить с мальчиком он считает принадлежащим ему одному. — Связался черт с младенцем...

— Ишь, сакрамент, — говорит Вася, поглядывая с недоверчивой усмешкой на Коленьку.

Но вот костер уже сложен. Поджидают запоздавших к празднику. Вдалеке слышен безнадежный голос Милициной бабушки:

— Мы-лы-ца... Мы-лы-ца... — несется над долиной, и Сима, «та, которая быстрее всех бегает», полетела взять вязаную кофточку, потому что солнце уже давно зашло.

Из-за бугра, спиною к закату, не спеша, шла красавица Люся. Она украсила свою голову венком из полевых васильков и надела малороссийское платье. Никогда еще не была она так безупречно прекрасна. Спокойные снопы света из ее синих глаз освещали поляну, где собралась пестрая толпа. Коленьке казалось, что попади один луч ее глаз на сложенные посередине поляны ветви — костер запылает. Но лучи скользят по поляне, по стволам деревьев, по пестрой толпе и прожигают душу прислонившегося к дереву мальчика.

— Людмила Павловна, вы бы поторопились... — кричит Дмитрий Сафонович, но шуточное наименование Люси по отчеству не производит желаемого впечатления и никто не смеется.

— Панночка! — говорит Демка, и на минуту четырнадцатилетняя девушка заворожила вдруг притихшую, пеструю толпу. Один из толпы так и не пришел в себя до конца дней своих.

Наконец, все собрались. Ночь была звездная, но луны за сосновым лесом не было видно. Верхушки сосен сливались с бархатным небом украинской ночи. Борис и Андрей подошли к сложенной груде бревен и сучьев, облитых смолою. Борис присел на корточки и костер вспыхнул — запылал. Саженное пламя, почти не колеблясь, вонзилось в небо. Красные искры, отрываясь от костра, не долетая до звезд, осыпались безнадежной золою на землю. Лица окружающих осветились трепетным пламенем и казались радостно вызывающими. Первое время никто не мог помыслить прыгнуть через разбушевавшийся огонь.

— Ого! — крикнул Дмитрий Сафонович. — Вот сейчас бы прыгнуть! — сказал кто-то.

Борис, самый храбрый, взявши разбег полетел к костру, который заслонял его от тех, кто находился по ту сторону. В это же время от группы, где стояла Люся, отделился Коленька, и как белая мышка стремительно побежал к огромному пламени. В пестрой толпе ахнули, но было уже поздно. Мальчик с двух шагов перед костром прыгнул, и легко как перышко полетел в огонь, и вдруг кубарем покатился назад, столкнувшись в огне с Бори-

сом, прыгнувшим с другой стороны. К мальчику подбежали, но он уже вскочил с земли и, очищая руками шелковую рубаху, успокаивающе и смущенно бормотал:

— Это совсем ничего, даже не ушибся.

— Да зачем же ты прыгал, — тормошит мальчика Дмитрий Сафонович. — Храбрец нашелся, большие и те боятся, а вот видите: и оно туды полізло.

Коле обидно, но чувствуя себя виноватым, он смущенно молчит.

— Правда, не ушибся, Коленька, дорогой? — спрашивает Люся и по ее голосу понятно, что она знает, почему прыгнул в огонь мальчик.

Пламя ослабевало. Девушки прыгали, держась за руки и перескакивая только через края костра. Борис и Вася прыгали с гиком, иногда переворачиваясь на лету. Демка, посадив на спину маленького Сережу-математика, вместе с ним полетел через пламя. Аксютка, все в лентах и стеклянных монистах, разбежалась одна, без пары, но за три шага от костра с криком: «Ой лишечки!» — повернула назад. Шум и смех не прекращался вокруг костра, но неистовый хохот всей компании послышался только тогда, когда Дмитрий Сафонович, дождавшись, чтобы костер почти совсем потух, и на месте яркого пламени остались одни головешки, решился наконец прыгнуть. Взяв непомерно большой разбег, он с криком: «Расступись, мелюзга!»

— придерживая свой живот обеими руками, побежал к груде дымящихся углей. Чем ближе подбегал он к потухающему костру, тем более замедлял свой бег. В конце концов он прыгнул боком, так, как бы хотел своей правой половиной перелететь через костер, а левой остаться по эту сторону.

*

Костер погас. Взрослые разбрелись по лесу, а дети уселись вокруг еще тлевших углей. Изредка кто-нибудь бросал в огонь сухую ветку, отчего пламя, вспыхивая, освещало их нерешительным, трепетным светом. Дети задумали странную шутку: в двух верстах от поляны, на перекрестке дорог, отделявших владения графа Капниста от владений Глазенапа, была заросшая папоротником могила — без имени и креста. Туда один из храбрых должен был пойти сегодня ночью: в этом диком, заброшенном месте не мог не расцвесть таинственный цветок папоротника — в ночь под Ивана Купала. Дети, усевшись вокруг потухающего костра, решили прочесть страницу безумного Гоголя. Долго спорили, кому читать. Коленька отказался. Тогда решили бросить жребий. Вышло — Симе. Высокая девушка с пустыми, белыми глазами, взяла книгу. В костер бросили пересохшую ветвь — стало светлее. Ночные птицы перекликались в лесу, но стало еще страшнее, когда далеко из ночи донесся голос:

— Ч-у-уют пра-авду!..

Люся взяла Коленьку за руку. Андрей принялся было свистать, но остановился. Глухим, ровным голосом Сима начала читать:

«Тут же и простые листья папоротника... Глядь — краснеет маленькая цветочная почка и, как будто живая, движется. В самом деле чудно... Движется и становится все больше и больше, и краснеет, как горячий уголь. Вспыхнула звездочка, что-то тихо затрещало — и цветок развернулся перед его очами, словно пламя, осветив и другие около себя. "Теперь пора...", подумал Петро и протянул руку. Смотрит, тянутся из-за него сотни мохнатых рук также к цветку, а позади его что-то перебегает с места на место. Зажмурив глаза, дернул он за стебелек, и цветок остался в его руках. Все утихло. На пне показался сидящим Басаврюк, весь синий, как мертвец».

— Не могу больше, — шепчет Сима, и книга валится из ее рук.

— А цветок сорвал, все-таки сорвал, — говорит Люся и, оглядываясь, видит, что Коленьки около нее нет.

— Я пойду на могилу, — решительно встает Андрей.

— Пойдем вместе, — неуверенно просит Сережа.

— Вдвоем нельзя.

— А я и втроем не пойду, — жмется к Люсе Аксют-

ка. — На що міні той цвітик, як сама сгину! Цур ему пэк!..

Люся смотрит на звездное небо и ей кажется, что одна звездочка вспыхнула, словно пламя, и развернулась как цветок.

*

Коленька подошел к опушке леса. Неясные очертания деревьев, темные кусты и скользящая по ногам влажная трава — всей своей силой ночною, — преграждали путь к тайне лесной. Кося острым крылом — ночная птица козодой, — задела ноги мальчика. Верхушки высоких деревьев неодобрительно зашумели. Пни и коряги поглядывали со всех сторон, вытягивая шеи и руки или прижимаясь к земле, готовясь к прыжку.

Вот за кустиком, который мутным пятном топорщится у ствола в глушь уходящего дерева, — тропинка, ведущая к могиле. Коля знает, что оборачиваться, что бы ни случилось, нельзя! Он осторожно идет, наступая на сухие ветви, которые, ломаясь, трещат — ему кажется, — как кости. Пройдя несколько шагов, Коленька, переведя дух, ступил на сырую, упругую тропинку, ведущую в лес. Лес расступился перед мальчиком и белая его рубаха замелькала по извилистой тропинке. Так, в первобытных лесах, пробиралась к водопою молодая сер-

на, смотря по сторонам удивленными глазами и каждой жилкой своей чуя грозящую опасность.

То там, то здесь зеленым светом зажигались светляки. Изредка набегал ветер, шелестя листьями и шевеля расстегнутым воротом Колиной рубахи. Над самой головой мальчика крикнул филин. Мальчик шел без оглядки. Сжатые руки его слегка вспотели, ногти врезались в ладонь и ноги в коленях дрожали. Подумать о том, чтобы вернуться назад, было невозможно, — тогда бы он побежал без оглядки и вся сила лесная и весь страх тех, кто погиб от нее, — за ним. Но неужели он не вернется? Разве возможно не вернуться?

Впереди, в руках приникшей к земле коряги, светилось расплывчато-голубое пятно.

— Это есть такие старые пни, которые светятся, — думает Коля и, стараясь не взглянуть в лицо приподнявшегося из земли мертвеца, с захолонувшим сердцем проходит дальше.

Вот за этим поворотом — могила, поросшая папоротником. Коля садится на пень и, прислонясь к стволу дерева, сдерживает рыдания. Через силу он поднимается и идет дальше. Уже давно взошедшая луна, беседующая с человеком лишь о напоминании смерти, осветила две крест-накрест дороги и бугорок забытой могилы. На бугорке сидел мальчик. Коленька облегченно вздохнул:

— Наверное, Андрей, — подумал он: — другой бы побоялся.

И страх, переполнявший его душу, скользнул вниз и ушел в сырую, все принимающую землю.

В нескольких шагах от могилы Коленька заметил, что мальчик, сидящий на бугорке — не брат Андрей, а «из чужих». «Пастушок, — подумал Коленька: — и не боится один в лесу, привык, должно быть...» — и тут же усмехнулся: «Да разве к этому привыкают...»

— Чей ты? — ласково спросил Коля, взбегая на бугорок.

— Это ты чей, — отвечал дружелюбно мальчик. — А я чей же?

Коленька присел на траву, пригибая высокие листья папоротника.

— Ты что же здесь всегда сторожишь?

— Всегда.

— Коней, что ли?

— Нет.

— А что же ты тогда в этот час делаешь тут?

— Да уж двенадцатый час прошел, — ответил мальчик. — Ты за папоротником?

— Да.

— Сказывали, на могиле найдешь... А вот и нет его.

Коленька взглядывает на мальчика и спрашивает:

— А зачем у тебя рубаха такая длинная — до пят?

— У нас у всех такие, — нехотя отвечает мальчик. — А ты вот пришел, а цветов-то и нет... А я могу найти цветок — это клад. Разыграем цветок, что ты за клад поставить?

— А во что играть будем?

Коля во всех играх был силен, но во что же сыграть здесь, на могиле, в лунную ночь?

— В косточки умеешь? — спрашивает мальчик.

— В кремешки? — да.

Мальчик лезет под подол рубахи и достает пять белых косточек.

— Поменяемся судьбою, — говорит он.

— Как же ты хочешь меняться?

— Если выиграешь — цветок твой, проиграешь — твоя судьба — моя.

В игре в кремешки Коленьке не было равного. И он начал вырывать траву, расчищая место, на бугорке, для игры. Мальчик смотрел, не помогая.

— Как тебя звать?

— Коленька. А тебя?

— Иваном.

— Смотри, не проиграй, Ванюша... — говорит Коленька, без ошибки подбрасывая белую косточку и собирая рассыпанные по земле.

Незнакомый мальчик играет хорошо. Косточки взлетают кверху и четко стукаются в подставленную пригоршней ладонь. Коленька внимательно

всматривается в него: черные впалые глаза без блеска отражают лунный свет. Когда он взглядывает вверх, подбрасывая косточку, лицо его, залитое светом, кажется зеленоватым.

— Что ты такой бледный, Ванюша?

— Луна! — отвечает мальчик и, передавая Коле косточки, касается его своей ледяной желатиновой ручкой.

Коля едва отодвигается, но продолжает напряженно играть — он на одно очко впереди. Желатиновая ручка опять коснулась Колиной руки и мальчик защелкал косточками, ловко подбрасывая их. Коленька напрягает все силы, чтобы не проиграть, и вдруг, когда мальчик бросил кость чересчур высоко и закинул голову — Коленька видит, что горло у мальчика перерезано и голова с впалыми глазами едва держится на затылочных связках.

Теперь, когда ледяная, желатиновая ручка передавала Коленьке костяшки, — он знал, с кем играет, на что меняет свою судьбу и какие костяшки достал из-под рубахи его товарищ.

— Играй скорее, — торопит мертвец: — Первый петух пропел!

Липкий, соленый пот течет по лицу Коленьки, он делает последнюю четверку и выигрывает. Страшный соперник хочет усмехнуться, нагибается и произносит:

— Ы-ы...

Луна поднялась из-за туч и осветила Колину вышитую по канве рубаху и саван его товарища.

— Я думал, выиграю, — говорит мертвец и сует согретые Колиной рукой костяшки под белый саван. Земля, которая все принимает, вздохнула губами мертвого, и Коленька, соскочив с могилы, замер. Мальчик вытянулся на бугорке и стал медленно погружаться в прозрачную землю, скрестив руки на груди.

Листья простых папоротников сомкнулись над ним и вдруг «маленькая цветочная почка стала будто краснеть и вот уже она движется, как живая. И все больше, больше краснеет, как уголь. Вспыхнула звездочка — что-то тихо затрещало, — и цветок папоротника развернулся, словно пламя».

— Коленька... Коленька... — несется по всему лесу громовой, временами срывающийся голос. Филин, в ужасе взмахнув крыльями, запутался в сосновых ветвях, а светлянки потухли сразу во всем лесу. Гневный Дмитрий Сафонович вприпрыжку спешит по тропинке, ведущей к заброшенной могиле.

— Как вы смели такого ребенка отпустить одного? — задыхаясь, кричит он на едва поспевающую за ним всю компанию.

— Да никто его не отпускал, он сам тайком ушел, — говорит кто-то.

— А ты чего смотрела, дура... — неожиданно обра-

щается он к Люсе-красавице. Но та не обижается лишь бы найти Коленьку.

— Гоголя читаете! — клокочет Дмитрий Сафонович: — А да воскреснет Бог и расточатся врази Его!.. — не читаете?

За двадцать шагов до поворота к могиле — нашли спящего на пеньке Коленьку. Он тяжело дышал, всхлипывал и метался. Правая рука его уперлась в скользкие малиновые наросты, похожие на грибы и растущие по краям старых пней.

Мальчик весь заледенел. Когда Дмитрий Сафонович схватил его в свои медвежьи лапы, Коленька, прижимаясь к нему, что-то быстро говорил, иногда вскрикивая:

— Выройте его, выройте!

Рыжики

— Ну вот уж выдумал. Какой же я богдыхан? — говорит Дмитрий Сафонович, поглаживая свой живот. — У богдыхана всегда брюхо, а у меня едва заметная покатость, да и то только в послеобеденные часы.

— — Ходить надо! — поддерживает Колю Гриня.

Коля сидит на крашеных приступочках крыльца и ловкими красивыми пальцами доплетает из розоватой лозы огромную корзину.

— Доплету, и в лес!

— А плетешь ты хорошо, — разглядывая корзину, говорит Дмитрий Сафонович. — Апостол Павел тоже плел корзины и продавал их, чтобы не слышать упреков от злословящих его.

— И вам бы у Коли поучиться не грех — глядишь пригодится.

Но Коля заправил последнюю лозу, нагнул голову и острыми, как осколок стекла, зубами откусил горьковатый конец ее. От сплетенной корзины

веяло речной свежестью и вся она блестела точно выкрашенная. Коля не сразу поднял голову. Свежий запах прутиков заставил его в одно мгновение проделать длинный обратный путь в шумную мартовскую Москву, где на Красной площади, там, где сейчас придушил всякое дыхание тяжелый гроб из литого стекла, продавали в Вербное воскресенье и тещин язык, и морских жителей в стеклянных трубочках, и свежую вербу, запах которой манил из Москвы на далекую речку Псел. Коля уже тогда подозревал, что все эти тещины языки и черти оживут когда-нибудь и воцарятся на площади у подножия московских церквей. А воздушные шары, синие, красные, зеленые, улетят в голубое небо и взглянувши оттуда вниз, в ужасе полопаются и посыпятся на землю разноцветными, но мертвыми тряпочками.

— Ну что ж ты? Запутался?

— Готово! — Коля прыгнул вниз с крылечка и взмахнул над головою тяжелой корзиной. — Идем. — А ты, Гриня?

— Да я ж не богдыхан.

— Пойдем с нами, — зовет Коля, — грибов теперь по лесу — страсть... Вдвоем не дотащим.

— На каком ты это языке говоришь, Коленька? В гимназии тебе за такое обязательно кол влепят.

— Аксютка всегда говорит, когда много, —

страсть. И сразу видно: тысяча тысячей. Пойдем с нами!

Гриня соглашается. Вниз по крутой дороге мимо озера, все трое отправляются в лес. Какой бы ни был жаркий июльский день, когда на небе «ни одного облачка», Дмитрий Сафонович все-таки брал с собою черный с бамбуковой ручкой зонтик. Быть может, действительно, брал он его не от дождя, а от коров и быков.

— Вы не смейтесь, господа, — говорит он, — если бык на меня, я перед самой мордой его раскрываю зонтик — ж-ж-ж-жик! — и бык в обморок!

— Отойдите от меня все боязливые...

— Нет, ты, Коля, молчи, предосторожность не есть боязливость. Это не про меня сказано. Какой я боязливый?!

Дорога минула озеро и теперь поднималась в гору, незаметно превращаясь в узкую тропинку, теснимую орешником. Временами с корнем вырванное деревцо преграждало путь, и тогда Коля ловко перепрыгивал через него, а Гриня приподнимал дерево, чтобы дать возможность Дмитрию Сафоновичу пролезть под ним. Лес становился диким и чары его усиливались с каждым шагом вглубь. Кое-где стали попадаться сосны. Преступная осина породнилась с невинной березкой и, утерявши вечную перепуганность свою, уже не трепетала здесь бледными листами. Молодые побеги дубовых кустов почти

совсем вытеснили орешник. Запах хвои боролся с пряным запахом лиственных деревьев. Куда ни взглянешь, сердце отзовется лесу — как хорошо! Было о чем плакать некрасовской Саше.

— Сыроежки не в счет! — предупреждает Коля, удаляясь от своих спутников. И через минуту слышен его звонкий голос: «Белый, и какой! Рыжик, два!» Всякий маленький грибок, еще не выросший из земли, а только чуть приподнявший хвою — не ускользает от взгляда мальчика. Коля, оглядываясь, видит три-четыре гриба сразу и, запомнив, где увидел их, летит от одного куста к другому. Корзину он отдал Дмитрию Сафоновичу и прибегает класть в нее аккуратно срезанные перочинным ножиком — рыжики, белые грибы, бабки, подосинники и грузди. Найдя рыжик, он присаживается перед ним на корточки и, раздвигая листья и хвою, долго любуется им. Когда ножка гриба срезана, — ослепительно оранжевый кружок сияет среди прогнивших листьев, и Коля смотрит на него и жалеет срезанный рыжик. Дмитрий Сафонович положил в корзину огромную волнушку и с гордостью говорит Коле: «У меня один, да самый большой!» Коля видит ошибку, но не хочет огорчить своего друга и подтверждает — «самый большой».

Гриня позвал Колю. Около старых пней выстроилась целая армия опенок. Одни из них задорно взбегали на пни и шапкой набекрень клонились на

сторону, другие с опаской спускались вниз и стройными рядами выстраивались на покрытых мохом корнях. Коля замер в восторге. В это время послышался крик Дмитрия Сафоновича:

— Ко-о-ленька! Вот тебе ужище, да какой!

Мальчик стремглав бросился на зов, предчувствуя что-то недоброе. Дмитрий Сафонович улыбаясь стоял перед большой лесною гадюкой и шевелил ее кончиком своего зонтика. Черная змея свернулась в клубок и выгнула шею вопросительным знаком. Казалось, она сейчас прыгнет на своего обидчика. Все остальное произошло в одно мгновение: Коленька, пихнув своего друга с такой силой, что тот навзничь свалился в кусты, выхватил из его рук зонтик с бамбуковой ручкой и с размаху ударил по черному клубку... Еще и еще. Змея повернулась, обнажив белое брюхо, и пыталась уползти, но следующий удар был нанесен ей в голову. Коля стоял бледный, нижняя губка его слегка вздрагивала — казалось, он сейчас заплачет. Прибежал Гриня и взял за хвост двухаршинную змею. Дмитрий Сафонович, поднявшись из кустов, красный, с каплями пота на лбу, проговорил еле внятно: «и будет жалить тебя в пяту, а ты будешь поражать его в голову».

— Что ж вы, ужа от гадюки отличить не можете?! — сердится Гриня, — такой огромной и не видали! А толста...

— Страсть, — вторит Коля.

Все трое вернулись к опенкам. «Целый город!» — удивляется Дмитрий Сафонович. Коля присаживается на пенек и с восхищением смотрит на прижавшиеся друг к другу грибки. Гриня нагнулся к одному семейству и тянется рукою к золотистым шапочкам.

— Не трогай, Гриня, — говорит мальчик, — жаль.

— Кого?

— Опенок жаль.

— А змею тоже жаль?

— Нет. А не змею жаль.

— Ну вот еще. Одни умрут, другие вырастут. Да здравствует закон вечного обновления!

— И люди тоже так? — спрашивает Коля.

— И люди тоже.

— А я хочу, чтобы все навсегда, — с грустью говорит мальчик.

— Ну что ты, Гриня, — вмешивается Дмитрий Сафонович, — обновление обновлением, а я — это — я!

— Вы же говорили сейчас: и будет жалить тебя в пяту, а ты будешь поражать его в голову. Это про закон обновления и сказано.

Коля что-то соображает. Пальчики его сжимают сосновую шишку, которая приятно хрустит каждый раз, как ломаются ее деревянные перышки.

— Ты, Гриня, говоришь и так и не так, — с трудом произносит он, — я змею убил, потому что так надо,

и когда последнюю змею на земле убьют, тогда и жалить некому будет. Значит, и все навсегда...

— Ха-ха-ха! — торжествует Дмитрий Сафонович, — вот тебе и закон вечного обновления. А ты говоришь: и люди тоже!

— Ну ладно, пусть навсегда, но не сегодня же.

Дмитрий Сафонович рад одержанной Колей победе и, опасаясь продолжения разговора, встает и направляется в глубь леса.

— Хоть один бы найти, — говорит он уходя.

Гриня разлегся у Колиных ног на мягкой мшистой земле и ласково спрашивает мальчика: «Ну, о чем ты теперь? как сел, так и лоб нахмурил». Коля говорит с Гриней совсем по-иному — серьезно, — он любит говорить с ним.

— Люся рассказывает, что ей всегда один и тот же сон снится: будто едет она на рыженькой лошадке задом наперед, а с неба золотые рублики сыпятся и все кругом смеются. Это хорошо.

— А тебе снятся сны?

— Страшные.

Гриня положил свою большую теплую руку на на белобрысую голову мальчика.

— Страшные сны непременно всем философам должны сниться, — с улыбкой говорит он, — но ты жизнь любишь и потому не погибнешь.

— А философы — что это?

— Философы? Гм, это люди, которые живут не

для того, чтобы думать, а думают для того, чтобы мочь жить. Не понял? Ну, люди, которые думают от страха.

«А-у-у!» — донеслось из лесу.

Гриня и Коля пошли на голос.

— А-уу! — донеслось ближе. — Вот, вот, смотрите, нашел, — кричит Дмитрий Сафонович. Он сидит на корточках и тычет в птичье гнездо, с опаской отдергивая палец.

В гнезде четыре маленьких птенчика и над ними птенец-чудовище, явно на братьев своих не похожий. Птенец сердито раскрывает клюв, четко обрисованный замшевой ленточкой. Глаза его злы и беспокойны: вот-вот тяпнет Дмитрия Сафоновича за красный волосатый палец. Две маленьких пичужки точно осы вьются вокруг, издавая отчаянные пронзительные крики.

— Что же с ним теперь делать? — говорит Гриня, — ведь этот тоже вроде змеи.

— Ну, теперь пускай уж, ведь они думают, что это их птенчик, — указывает Коля на взволнованных птичек.

— Вот, брат, оказия! — не может успокоиться Дмитрий Сафонович. — Этакое чучело! Неужели они не поймут, что это кукушкин?

— Инстинкт подарил птице крыло, но отнял всякое соображение, — смеется Гриня.

— Да как же так? положить яйцо в чужое гнез-

до и ждать, покуда эти пташки выкормят такого тунеядца!?

— Пойдемте, Дмитрий Сафонович, сего наш человеческий разум понять не может, — повторяет Коля слова, столько раз слышанные от своего друга. В это время вдали бархатным голосом крикнула кукушка.

— Кукушка, кукушка, сколько мне лет жить? — одновременно сказали Коля и Дмитрий Сафонович. Кукушка начала было отсчитывать года, но поперхнулась и замолкла.

— Ну вот, я скоро умру, — задумчиво говорит Коля.

— Да что ты, что ты. Ты что? — не в меру всполошился Дмитрий Сафонович. — Во-первых, и не ты вовсе спросил, а я. Я и помру.

— Да ну вас, суеверы! — восклицает Гриня.

— Суеверы, суеверы... Тебе все суеверие, и кошка дорогу перебежит — тоже суеверие. Скоро помру! Да как ты смеешь говорить такое!?

— Ну хорошо, — успокаивает Гриня, — вместе спросили, потому она и кричать перестала. Вместе не считается.

Дмитрий Сафонович после такого заключения мгновенно успокаивается и смотрит на часы. «Ого, уже шесть».

Коля прищуривается на заходящее солнце и поправляет: «Почти семь, у вас часы стали».

— Да, стали, — удивляется Дмитрий Сафонович, — идем скорее, — и круто поворачивает назад.

— Не туда идете.

— Как не туда? Отсюда пришли, сюда и возвращаемся.

— Да нет же, — настаивает Коля. Гриня разводит руками и склоняется к мнению Дмитрия Сафоновича. Мальчику лень спорить и он соглашается: — Пройдемте немного и сами увидите.

Сумерки наступают в лесу сразу, будто сторожат заблудившихся. Только поймут те, что зашли не туда, — небо уже потемнело, над верхушками сосен зажглась звезда, а вдали промяукал сыч о том, что не все еще змеи убиты на земле, и смерть следит за людьми ненасытными глазами теперь, как следила за ними отвека.

— Ну вот и наша полянка, — торопит Дмитрий Сафонович. Но поляна оказалась опушкой леса, переходящей в зеленый сырой луг, поросший острой режущей руки травой.

— Вот те на... Цимбаловские болота! Вишь, куда зашли, — растерянно смотрит на Колю Дмитрий Сафонович.

Несколько мелких холодных капель хлестнули по лицам блуждающих. Казалось, падали они не с неба, а принесло их из непроходимых болот, над которыми клубами поднимался белый туман.

Это были те Цимбаловские болота, в трясине которых утонул восьмилетний Ванюша. Шел он тогда по лугу со своею сестрой Парашей, как вдруг из-под самых ног его выскользнул коростель, или, как говорят у нас и по всей округе, — дергач. Выскользнул и промеж кочек побежал к высокой режущей руки траве. Эти тяжелые птицы, раз научившись летать, предпочли все же бегать на своих крепких ножках по земле — так надежнее, вероятно, думают они. Ванюша бросился за дергачем и попал в трясину. Сестра долго металась вокруг него, пытаясь стать босой ногою на зловещую зыбкую топь, а мальчик уже по пояс в трясине звал обессилевшим голосом: «Пашенька, Пашенька, помоги!»

Параша тогда убежала прочь, а много позже нашли ее висевшей на стройной осине у самой опушки леса. Когда вечереет и белый туман поднимается над Цимбаловскими болотами, чуть слышный голос нет-нет да и позовет: «Пашенька, помоги!»

Порою слышится он из тумана, порою раздастся над самым ухом, а порою кажется, что жалобный голос этот вырвался из вашей же груди.

Путники в нерешимости стояли на опушке леса, когда тихий голос донесся до их слуха: «Пашенька, Пашенька, помоги!»

— Что это? — отшатнулся в сторону Дмитрий Сафонович.

— Ракиты скрипят, шелестят камыши, — говорит Гриня.

«Пашенька, Пашенька, помоги!» — явственно послышалось над самым ухом.

— Какие же камыши, какая ж ракита? — еле слышно шепчет Дмитрий Сафонович. Коля молчит, его не пугает голос. Это именно ему кажется, что тихая жалоба вырвалась из его собственной груди.

Гриня оглядывается и на краю леса замечает стертую сумерками сторожку.

— Переночевать будет где, — говорит он,— идемте.

Коленька остается на месте.

— Ну что ж ты?

— Я не пойду туда. Туда нельзя.

Мальчик, растопырив пальцы, отставил руки назад и весь дрожит. Глаза его — два колодца, в которых нет дна.

— Да что ты, Коленька? — Гриня говорит простым ровным голосом, но какая-то нотка беспокойства передается и ему. Дмитрий Сафонович поглядывает то на одного, то на другого и нерешительно спрашивает:

— Почему нельзя?..

— Разве не видите?

— Да что «видите»? Что ты видишь?

— Не вижу, а так... — Коля пятится назад, умоляюще глядя на Гриню.

— Коленька, успокойся. Ты с этой змеею развол-

новался. Что тебе чудится? — Гриня берет мальчика за руку. Маленькая ладонь его покрыта каплями пота.

Ночь бросила на землю еще одну туманно-серую кисею, потом голубую, синюю... и вот-вот прикроет всю землю черным бархатным пологом.

Путники подошли к избушке. Дубовый сруб стоял низко у самого луга. Калитка в маленький двор была не заперта. «Эй, кто там?» — крикнул Гриня. «Кто там?» — повторил Дмитрий Сафонович. Ответа не последовало. Тогда Гриня пошел к настежь отворенной двери избушки.

Все трое дошли до порога. На стеклах маленького оконца отражался, неведомо откуда, слабый отблеск. В тесной комнатушке стоял неубранный стол. Стул на трех ножках перекосился набок и повернулся к вошедшим. Вдоль стены на широкой лавке, высоко подняв бороду к потолку и свесив до полу обе руки, лежал мертвый.

— Теперь пойдем, Гриня, — еле слышно прошептал Коленька.

— Ну нет, никуда мы не пойдем, — спокойно, но неестественно громко ответил Гриня, — заночуем здесь. Помогите мне, Дмитрий Сафонович. — И Гриня взял мертвого за плечи.

— Что ты делаешь, Гриня, — зашептал крестясь Дмитрий Сафонович.

— На дворе скамейка, помогите мне перенести его. Ну, живо!

Дмитрий Сафонович уронил корзинку и рыжики рассыпались по земляному полу. Умершего уложили на скамейку. Коленька стоял на пороге. Теперь холодный дождь моросил так, как будто и не было никогда ясного летнего дня, как будто люди знали о таком дне только понаслышке, а дождь и туман были всегда и навсегда останутся.

Когда вернулись в избу, мальчик с упреком сказал:

— Как же так, Гриня, а дождик?

— Ничего, — ответил Гриня, — мертвому и под дождем хорошо, а ты, мальчик, не думай ни о чем и спи спокойно. Умаялся, небось, герой...

На просторной печи можно было легко поместиться втроем — мальчик почти не занимал места. Гриня закрыл на крючки ставни и, подойдя к двери, опустил засов. Тяжелый засов звякнув влип между дверью и чугунной лапкой, приделанной к дубовому срубу избы. Гриня поднялся на печь и уложил мальчика.

— Спи, мой милый, спи до утра, — проговорил он ласково.

«Ишь, какой он», — подумал про себя мальчик.

Дмитрий Сафонович вытянулся рядом.

— Мы утверждаем действительность, — слышит мальчик, как Гриня глуховатым голосом поучает

Дмитрия Сафоновича. — Мертвый выходит из орбиты этого утверждения. Мы его боимся. Он не только не помогает нам, но нам самим надо утверждать его.

— Но как же утверждать его? — прошептал в ответ Дмитрий Сафонович и вздохнул так шумно, что большая муха сорвалась с потолка и долго потом летала по комнате, стукаясь слепой головою о потолок и стены избы. Наконец она жалобно зажужжала и затихла где-то в дальнем углу.

Тончайшие нити звуков потянулись изо всех концов избы к ногам, рукам и голове мальчика. Один комар выводил такую замысловатую мелодию, что жужжание других казалось всего лишь аккомпанементом к ней, — первая скрипка. И как стройно поспевают за ней все другие. Коленьке представляется большой зал с хрустальными люстрами. На эстраде один скрипач, впереди всех, изогнулся в удивительной позе, другие стоят, как вкопанные, и только смычки их медленно двигаются назад и наполняют зал жалобным стоном, не давая первому голосу вырваться и улететь прочь. Рукава и длинные фалды черных фраков окутали люстры, черная крышка рояля уперлась в потолок и зал провалился во тьму.

Когда мальчик проснулся, то не сразу сообразил, где он. Пыльный луч солнца пробивался сквозь наглухо закрытые ставни и освещал рассыпанные

по полу рыжики. Мальчик повернулся к спящим и вспомнил все. Дмитрий Сафонович лежал рядом, скрестив на животе волосатые руки, и храпел присвистывая с таким мастерством, что для Коли не было сомнений в том, что в обеих ноздрях его сияющего носа были вделаны две разного тона свистульки, какие вставляют кустари в глиняных голубей и уточек, продающихся по воскресным дням на базарах в Лебедине, и в Сумах, и в Михайловке. Коля улыбнулся и перевел взгляд на Гриню. Судорога пробежала по телу мальчика: Гриня сидел, упершись в печь руками, и, казалось, влип спиною в закоптелую стенку. Страшно раскрытыми глазами он смотрел в сторону двери.

Коля повернул голову.

Дубовая дверь была по-прежнему наглухо закрыта, и чугунный засов лежал на своем месте. Вдоль стенки на широкой лавке лежал мертвый, и вода каплями стекала с его одежды на земляной пол.

Оборотень

(Отрывок)

Крыльцо, на котором Коленька плел свои корзины, спускалось пятнадцатью ступенями прямо в цветник изумительных роз.

Пятнадцатью? Не ошибся ли я?

Сосновые выкрашенные в кирпично-оранжевый цвет — доски. Краска всюду полопалась и шелухой осыпается с них. Желтая смола в жаркий летний день капельками проступает сквозь жилки досок, особенно там, где жилки образуют темное овальное пятно спиленного сука. Разве я могу ошибиться?

Ведь Коленька — быстрый ловкий мальчик — прыгал всегда с четырех ступеней сразу. А с пятой?.. Да, вот как это было: с пятой пожалуй не спрыгнешь — подумал мальчик, и чей-то коварный насмешливый голос подшутил над ним — «не можешь? ага-аа!»

Коленька поднялся на пятую и задумался. Верным глазом размерил он расстояние, и таинственная великолепная сила распределила по всему телу принятое решение — «гоп!» — и мальчик, стукнув-

шись пятками в желтый щебень, не упавши, спрыгнул и с пятой, облегченно вздохнул, и уже когда остановившись около белых роз — «Королева Франции» — он осторожно вынимал из раскрывшейся чашечки розы зеленого жучка «Оленьку», — тот же голос шепнул ему на ухо: «а вот с шестой-о-ой». Мальчик нехотя вернулся к крылечку и с чувством стыда и вины перед кем-то поднялся на шестую — «неужто прыгну?» — подумал он — «с пятой ведь не упал». «Гоп!» — оставив глубокие следы в желтом щебне, он спрыгнул и с шестой, облегченно вздохнул и остановился как вкопанный: «с седьмой не могу, не могу, не могу...» — звенело в ушах.

Краска залила лицо мальчика, капли пота выступили на лбу и синие жилки надулись на висках. Точно скованный стоял он перед крылечком, с тоскою поглядывая на седьмую. Седьмая ступенька — широкая, из двойной доски, доходя до краев террасы, переходила в отвесный выступ.

Пятнадцатая, самая верхняя, делала такой же выступ, справа и слева, образовывая с белой стеной дома прямой угол. В этих двух углах были посажены липы, сплетавшиеся ветвями над красивой террасой.

Мальчик поднялся на седьмую ступеньку.

— Разобьюсь на смерть, или ногу сломаю непременно, — подумал он.

Но спрыгнув вниз, он, скользнув пятками по

щебню, лишь слегка ушиб оба локтя и ссадил ладони.

Восьмая, девятая, десятая... пятнадцатая — в необъяснимой тоске пересчитывал он ступени.

— Да ведь вот что: взойду на террасу да и спрыгну с выступа — все равно что пятнадцать...

Так мальчик в первый раз обманул беса. Но бесы мстительны...

Ну, вот, а вы говорите, я ошибаюсь. Ну, как же я мог ошибиться?

А пятнадцать — это очень высоко. Грохнувшись наземь, Коленька пребольно стукнулся скулами о свои собственные колени и, не успев оправиться, услыхал отрезвляющий голос Андрея: «ты бы еще с крыши прыгнул, акробат». Наваждение вмиг рассеялось и оба брата рассмеялись, глядя друг другу в глаза.

Взойдя на просторную террасу, они присели на верхней ступени. Отсюда, так же как и с бугра, был виден ржавый Азак, лиловато-розовый Курган и, уже совсем с краю, откос Червлёных.

У каждого человека бывает в жизни свой рай, и каждый человек из этого рая бывает изгнан. Быть может для того, чтобы всю жизнь потом желать и стремиться стать достойным того, что видел и слышал.

Но то, что видишь днем с просторной террасы, или с бугра покрытого чебрецом и высохшей мятой

— это только преддверие того, что происходит перед вами в вечерний час — в непорочный час — заката.

*

В этот час на террасе собираются все: Коленька и Андрей сидят на ступеньках, Дмитрий Сафонович позади в плетеном кресле, девушки разместились в широких выступах веранды, Гриня уперся локтями о перила, и даже полдюжины разношерстных собак покойно улеглись у ног своих хозяев. А веселая девушка Параша, поставив на стол глиняный кувшин с молоком, медлит уходить и, приоткрыв дверь в комнаты, повернула голову и скользит своими серыми глазами по изумрудной зелени луга, распростершегося до самого подножия Червлёных.

Огромное золотое солнце в розовом венчике облаков остановилось над верхушками гор.

Но разве я могу рассказать это? Я разве что могу рассказать о том, что происходило в это время на земле, да и то только о птицах, о майских жуках и лягушках.

По правую сторону изумительных роз темная полоса ольхи прячет мутной пылью покрытую воду, и острая осока поднимается вдоль берегов старого Псела: здесь царство лягушек.

Налево от цветника — аллея Владимирской вишни, густой кустарник, и уже у самого луга непроходимая малина свинцовой зеленью окаймляет усадьбу: здесь соловьиное царство.

Когда багровая шапочка солнца скрывается за меловыми горами и последние лучи его освещают снизу неподвижные облака, первый соловей, где-то у самого дома, пробует свой голос: «плохо ли?» «Так-так-таак» — отвечают ему из малинника. Но он еще не уверен в себе. Перепорхнув на верхнюю ветку дерева и усевшись поудобнее, он еще раз спрашивает: плохо ли?

— Так-так-так — несется уже не только из малинника, но и со стороны Владимирской вишни и из густого кустарника.

Одновременно в зарослях осоки собирается хор лягушек. Отставной вахмистр командует ими — «раз-два, раз-два». Лягушки недовольными голосами отвечают: «при-р-р-ро-о-да вот она прир-ро-ода». Команда слышится и с дальних берегов, и там тоже лягушки недовольны природой. Настойчивые голоса их, кричащие вразброд, долетают до слуха сидящих на террасе и Дмитрий Сафонович обиженно ворчит: «не дадут соловья послушать, хулиганы...»

Но соловей уселся на тонкой ветке, вытянулся на своих непомерно длинных лапках и пустил сложную замысловатую трель, прокатившуюся по всему саду и долетевшую до болотистых берегов. Лягушки

подтянулись и на «раз-и-два» — отвечали дружным хором. Звонкие звуки их голосов ударялись о водную гладь и, рассыпаясь, неслись во все стороны.

Но и в кустах малинника так уверенно ответили на соловьиную трель, что оба хора слились в каком-то изумительном диссонансе, ставшем впоследствии залогом всей новой музыки. Правда у некоторых музыкантов сильно преобладают лягушечьи голоса, но это вероятно по неопытности и со временем несомненно сгладится.

Не нравилось и соловьям, когда голоса лягушек брали над ними верх. Теперь уже поет не один соловей, а еще два, совсем близко, помогают ему беспрерывными трелями, и все-таки временами кажется, что пьяный веселый хор пересиливает их.

Коленька собственными глазами видел, как прехорошенькая самка — серенькая, аккуратная птичка — порхнула и улетела к веселым хулиганам.

Волнению, по всему саду, не было предела. Соловьи щелкали, заливались трелями, высвистывали все новые и новые мелодии, но когда стало ясно, что молодая птичка улетела к лягушкам, — послали за знаменитым испытанным певцом, который пел только по двунадесятым праздникам или в особенно дивные вечера — в такие, какой был сегодня.

Муругий, большой соловей уселся на сухую дубовую ветвь — знатоки говорят сухая ветвь для отвзука. «Чок-чок-чок» — попробовал он свой голос

— и показалось, что в соседней комнате одну за другой открывают бутылки шампанского, как раз в то мгновение, когда обе стрелки на стенных часах остановились на двенадцати и вот сейчас — рыцарь на белом коне сшибет в прах обессилевшего противника, с траурной повязкой на левой руке, — и наступит Новый Год.

Полилась соловьиная песнь по всей округе: взяла верх над болотным хором, растеклась по зеленым лугам, долетела до Лебедина и, пронесясь по Михайловской улице, ударилась в окна маленькой аптечки рыжего жида Хавкина, отчего оконное стекло, не выдержав удара, лопнуло и всевозможные склянки на полках задребезжали на разные лады.

Соловей пел. И каждый слушавший его вдруг понимал, что стоило прожить тяжелую трудовую жизнь только для того, чтобы услышать его теперь.

Лягушки смирились и буйный хор их превратился в стройный аккомпанемент к соловьиной песне. Когда соловей затих, никто не произнес ни слова, и в саду, и на болоте настало затишье: глубоким молчанием ответила природа своему несравненному певцу. Сумерки слились с розовым закатом и воздух стал лиловым. Первая летучая мышь бесшумным зигзагом подлетела к самой террасе и, вынырнув над крышей, вновь закружилась по саду.

В такие минуты полной тишины вдруг понимаешь, что нет мира иного потустороннего, а есть один мир таинственный и чудный, в котором живут люди, и только изредка ощущают все чудесное основание его.

И вот, в эту минуту, от аллеи Владимировской вишни отделилась какая-то тень. Коленька первым заметил ее. Он протянул руку, чтобы указать на нее, но, осмотревшись, увидел, что все уже смотрят в сторону аллеи...

Истоки смеха

Пролог

Профессор Кэмбриджского университета сэр Джон Джемс кончает первую главу своей книги («Через время и пространство») — так:

«Приблизительно сто тысяч лет тому назад человек приобрел новую способность — связно передавать звук своего голоса. С этого момента он стал способен не только к замыслу и к изысканию возможности действия, но и к передаче себе подобным того, что он задумал и решил. Этот единственный факт был достаточен, чтобы дать человеку почти абсолютное превосходство над другими животными». Несколькими строками выше ученый пишет: «В известный момент млекопитающие, сродни обезьянам, эволюционировали или может быть превратились в человека».

Мне думается, что эти два события могут иметь между собою тесную связь. И тогда, по научным данным, человек стал человеком с момента, когда он заговорил, и это возможно *внезапно*.

Для меня соблазнительна мысль, что человек стал человеком не с момента, когда он заговорил, а с момента, когда первый раз рассмеялся.

Смех, возникающий в связи с неожиданностью, подтверждает это предположение о внезапном превращении обезьяны в человека. Чтобы развить эту мысль, я не могу, хотя бы вскользь, не упомянуть о той чудесной силе, разлитой в мире, которую мы называем инстинктом. Все знают о чудесном перелете птиц с Севера на Юг. Очень хорошо рассказывает нам о подробностях перелета русский ученый Давыдов.

Непостижимо, как летят они много тысяч верст не сбиваясь со своего пути. Но еще чудесней становится для нас перелет, когда мы узнаем, что первыми улетают с Севера на Юг не старые, знающие дорогу птицы и, казалось бы, могущие служить вожаками для недавно народившейся молодежи, а именно эта молодежь, никогда не летавшая и не знающая даже ту страну, в которую летит, улетает первой.

Молодые птицы, всего шесть месяцев как вылупившиеся из яиц, первыми снимаются с насиженных мест и без ошибки летят, путем своих предков, с Севера на Юг. Восторг и страх обнимают душу, когда задумываешься об этом чуде. Не могу не помянуть о трогательной детали перелета диких гусей и журавлей.

Глубокой осенью мы видим иногда, как по голубому небу движется темный треугольник, как по линейке очерченный с трех сторон. — Журавли улетели!

Первым летит, разрезая воздух, самый сильный из стаи. Когда он устает, в живом треугольнике происходит плавное перемещение: две птицы, летящие сзади, подлетают к уставшему, вытягивая одно крыло и продолжая махать другим. Образуется мост, на который журавль кладет свои истомленные крылья и таким образом отдыхает. Из третьего ряда отделяется птица, заменяющая вышедших из стоя. Ряды смыкаются и в чистом воздухе слышится призывный крик журавлей, то ли ободряющий нерешительных, то ли призывающий нас посмотреть, как безукоризненно точно они проделывают сложное перемещение.

Но вот, на пути *размножения* птиц некогда находился материк Лемурия, ныне затонувший. Теперь на его месте водное пространство в несколько тысяч верст. Птицы летят прямо через необъятные воды, покрывающие места, где когда-то они могли отдохнуть и найти необходимое пропитание. Три четверти птиц погибает.

Что это? Неужели божественный инстинкт обманул их?

Нет. Инстинкт никогда не претендовал на роль разума. Инстинкт не мог научить их лететь другим

путем — это роль разума. И, казалось бы, ясно: если инстинкт слеп, то слеп и Тот, кто управляет им. Но в каком-то божественном плане инстинкт выполняет задание высшего разума: после исчезновения Лемурии уничтожение трех четвертей птиц стало *разумной необходимостью*. Как это страшно. Поступил бы человек, живущий разумом, иначе? Если и поступил бы иначе, то эпидемии, войны и прочее сделали бы свое дело... Но это выходит из рамок затронутого мною вопроса.

Всепоглощающий инстинкт не оставляет места для мысли, мысль покорная раба его. Первый шаг освобождения от инстинкта был смех первобытного человека, он был «реакцией на страх». Углубляясь в трагическую судьбу жизни на земле, я с удивительной легкостью могу представить себя в любом периоде развития жизни. Вот я закрываю глаза и вижу себя безобидной полевой мышью.

Моя глубокая нора в горячем песке наглухо замурована. Днем я не решаюсь выглянуть наружу. Внутри я спокоен, но воздуху и пищи у меня нет до прихода сумерек. С заходом солнца я приближаюсь к поверхности земли и, затаив дыхание, долго прислушиваюсь. Я слышу все. Я знаю, что солнце зашло, потому что песок остывает и гомон и шум на земле стали иными. Я слышу прибой морской волны; слышу шлепанье плоских лап какого-то огромного зверя, проходящего за двести шагов от

меня; я слышу коварный свист змеи, сливающийся с шелестом тростников. — Но вот все затихает. Я не шевелюсь. Быть может, это затишье перед нападением? Нет, оно длится слишком долго. Осторожно, цепкими лапами, быстро, быстро я раскидываю остывший песок и, не высовывая головы, прислушиваюсь еще. Все тихо. Только теперь я выглядываю наружу.

Огромная красная луна застряла среди острых скал и зловещим светом освещает желтый песок, покрытый сетью бесконечных следов. В нескольких шагах от меня на ветвях сожженного солнцем дерева сидит большая птица.

Птица, сидящая на дереве, мне не страшна. Она дневная. Тень ее падает острым треугольником, вонзившимся одним концом в мою норку. Глаза мои выкатываются из орбит — так я смотрю! Я верчу ими сразу во все стороны и так же как слышу — вижу все. Под деревом, в двух шагах от меня, тонкий стебелек травы, который приковывает мое внимание. Мне нужно пробежать всего два шага, срезать стебель отточенными зубами и стремглав убежать обратно с добычей, которая насытит меня до завтра. Но я не решаюсь ринуться вперед. Надо заглянуть назад: не притаилась ли там серая как сумерки змея, готовая к прыжку. Она уже час поджидает меня, чтобы сожрать мое маленькое тело. Сердце бьется, бьется... Малейшая оплошность гро-

зит гибелью. Крикнула сова, но она далеко; шакалы приветствуют луну протяжным потусторонним воем.

Многоликая смерть следит за мною. Я знаю — она безжалостна, она не упустит случая лишний раз утвердить свое владычество в борьбе с жизнью.

Молиться я не умею, а разве могу я думать о чем-либо при таком напряжении мысли, находящейся в рабстве у инстинкта.

Легкий ветерок донес до меня острых запах дикой кошки. Но нет, вот она беззвучной походкой крадется в другую сторону.

Два шага, всего два шага... Очертя голову, я бегу к намеченной мною травке и впиваюсь зубами в ее сладкий стебель. Сахарный, освежающий сок течет по пересохшему небу и языку. На миг я замираю в блаженстве... И этого достаточно, — черный мохнатый тарантул срывается с нижней ветви дерева и, подмяв меня под себя, впивается клещами в мое горло. Теплая кровь течет на песок и красный цвет ее сливается с лунным светом...

Мой писк в предсмертном ужасе ничем не нарушает гармонии зловещей ночи.

*

Я умер. Но какое наслаждение для меня, человека, чувствовать себя воскресшим.

Как мне, живому, легко обратиться в лохматого антропоида — сильного и здорового, разгуливающего со своими братьями по диким зарослям девственного леса.

Та же опасность окружает меня, но я уже не в роли пассивной защиты. Я сам нападаю на слабейшего, но только тогда, когда голод мучает меня. Я большая благородная обезьяна. Но я принадлежу по-прежнему к тому циклу природы, где я ничем не защищен против грозящей мне опасности, — ни против жала змеи, ни против полосатого тигра, ни против рушащихся со скал каменьев.

Ловкость и сила, данные мне природой, — мое право на жизнь.

Ухо мое по-прежнему напряжено, глаз зорок, нюх всегда отличит запах пробегающей серны от запаха проходящего мимо тигра. Мысль моя по-прежнему находится в состоянии беспрерывного бдения. Малейшее отклонение от контакта с реальностью, малейшая оплошность в ее безупречной работе — влечет за собою гибель.

Сейчас я ухаживаю за молодой красавицей с красиво оттопыренными губами и с нежно повисшими грудями, покрытыми светлым пухом и напоминающими кокосовые орехи. Круглый живот красавицы оброс рыжеватой шерстью. Несомненно,

впоследствии она станет мисс Нью-Йорк и каштановые ее волосы будут поражать воображение и малых и старых.

Теперь я протягиваю ей пучок лесных ягод и обнимаю ее за талию. Я чувствую, как ее могучие бедра колышутся при каждом медлительном шаге. Радужные слюни стекают с ее нижней губы, и она так нежно, так сладко чавкает, вкушая предложенную мною ягоду, что я, увлекшись созерцанием, чуть не прослышал хрустнувшую среди зеленых папоротников ветвь и не учел приближения смерти.

Может быть, ветвь хрустнула уже во второй раз, так как прямо перед нами, раздвигая кружево листьев, показалась полосатая голова тигра. Бежать поздно...

Самая близкая лиана — в двадцати шагах. Нас отделяет от устрашающей морды тигра ствол вырванного бурей дерева, лежащего поперек поляны в зарослях папоротника. Мы успели сделать легкий скачок назад и вспрыгнуть на уступ скалы, каменной стеной возвышающейся за нашими спинами.

Я плотно прижался задом к скале, уперся судорожно сжатыми пальцами в колени и налитыми кровью глазами слежу за каждым движением сильнейшего зверя.

Сейчас он слегка присядет и, легко перепрыгнув через ствол, приникнет к земле, чтобы последним прыжком достичь меня.

Беспрерывность действия четко продиктована моей мыслью, находящейся в рабстве у инстинкта. Все это будет так и ничего иного быть не может. Но я дорого отдам свою жизнь.

Бежать мне некуда, да и бежать нельзя, — тигр быстрее меня и удар его тяжелой лапы в спину покончит со мною мгновенно. Самка, повизгивая, повернулась животом к скале и, царапая когтями камень, безнадежно пытается взобраться по отвесной скале вверх. Мое первое движение при последнем прыжке тигра будет таким: я приседаю и, схватив его сильными руками за горло, сбрасываю вниз. Что дальше — я думать не смею. Но все, что до этого момента, разработано мною до мельчайших подробностей. Я не могу ошибиться. Инстинкт не ошибается...

Мысль работает в унисон с окружающей меня действительностью.

Нарушенный контакт — смерть. Тигр осторожно раздвигает листья папоротника, вперив в меня желтые глаза и обнажив белые клыки огромной пасти.

Напряжение мое доходит до крайности. Тигр бесшумно приникает к земле и легко, как перышко, летит через ствол опрокинутого дерева. Сию минуту он станет четырьмя лапами на упругую землю и с победным, душераздирающим воем сделает свой последний прыжок!..

...И вдруг тигр провалился сквозь землю. Первое мгновение, когда мысль, рассчитавшая все до мельчайшей подробности, была обманута, еще больший страх, переходящий в ужас свершившегося кошмара, охватил меня. Но в один миг я понял, что ветви лежащего дерева скрывали образовавшуюся от дождей яму, и тигр провалился в нее.

На какой-то вершине отчаяния я понял истину случившегося и почувствовал все значение ее. Наступила реакция.

Ликованию моему не было предела. Я приседал, хлопал себя по ляжкам, взвизгивал и гримасничал. Я издавал какие-то гортанные звуки, все чаще и чаще повторял их. Звуки эти слились в беспрерывную цепь заливистого лая, и по девственному лесу покатился смех обезьяны, внезапно превратившейся в человека.

Обезьяны, стоявшие поодаль и видевшие происшествие, а с ними и те, которые ничего не видели, стали повторять за мною ликующие выкрики, приседая и раскачиваясь.

Хохот, сотрясающий воздух, летел через заросли леса, верхушки деревьев заколыхались, птицы и звери в ужасе понеслись прочь перед неслыханным звуком, подобным раскатам небесного грома, но скрывавшим в себе еще большую тайну.

Это был смех первобытного человека, победившего страх.

С этого момента всесильный инстинкт отошел в сторону, уступив свое вековое место разуму.

*

А на небе в эту минуту архангелы заиграли отбой. Все небесное воинство столпилось на краю неба, заглядывая на зеленокудрую землю. Многовековые усилия неба пришли к концу и венцом их являлось происшедшее на земле.

В небесах великий Бог почил от трудов своих.

И был день седьмый.

Дикий виноград

... почти каждое дерево было обвито сверху донизу диким виноградником.

Л.Н.Толстой. Казаки.

Кавказ, Кавказ... хотелось бы продолжить: «как много в этом слове для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось». Для некоторых русских Кавказ — это горы и горы. Для других — это Пушкин, Лермонтов, Толстой, а для многих — «Кахетинский выпьем по-кунатски, чтобы жили мы по-братски».

Действительно, одно из лучших, краткое стихотворение Пушкина: «На холмах Грузии лежит ночная мгла. Шумит Арагва предо мною...» Написано на Кавказе.

Лермонтов, писавший:

Тебе, Кавказ, суровый царь земли,
Я посвящаю снова стих небрежный:

Как сына, ты его благослови
И осени вершиной белоснежной.
От ранних лет кипит в моей крови
Твой жар и бурь твоих порыв мятежный;
На Севере — в стране тебе чужой,
Я сердцем твой, всегда и всюду твой!

был убит на Кавказе. Если кто не знает, так пусть узнает!

В Императорских архивах хранился полицейский рапорт о дуэли Лермонтова с Мартыновым...

Дуэль происходила в горах Закавказья. Началась дуэль и началась страшная горная гроза: тучи цеплялись за утесы и гром катился по ущельям. Кавказ, казалось, защищал своего поэта. Когда Мартынов выстрелил, доктор и секунданты подошли к Лермонтову. Ужасающая молния скользила по скалам. Доктор констатировал смерть.

Пошел ливень. Мартынов и свидетели дуэли умчались прочь. Но когда на другое утро полиция явилась на место дуэли, полицейский рапорт гласит: «Михаил Лермонтов еще дышал». Какой ужас!*

* Эти сведения были недавно опубликованы в советской России, после того, как в архивах были якобы найдены новые данные о дуэли и смерти поэта. До настоящего времени, как известно, считалось, что Лермонтов был убит на месте пулей Мартынова, прошедшей через оба легкие навылет. Возможно, что то, что принято было за «дыхание», было всего лишь скоплением воздуха в груди у мертвого, как это иногда бывает... *Ред.*

Все лучшее: «Демон», «Мцыри», «Аул Бастунджи», «Измаил-Бей» и многое другое написано молодым поэтом на Кавказе или о Кавказе.

Но как некоторые проведшие даже долгие годы в горах Кавказа поверхностно знали его!

Может быть, Пушкин знал все, но смотрел глазами только художника. Знаменитые стихи его начинаются так:

> Высоко над семьею гор,
> Казбек, твой царственный шатер
> Сияет вечными снегами.

В действительности, Казбек в «семье гор» по высоте своей занимает лишь шестое место. Видимо великий поэт с этим не считался. Но приходится говорить правду. Эльбрус достигает 5630 метров, затем идут: Дых-Шау, Шхара, Коштан-тау, Джанги-тау и, наконец, Казбек, прославленный поэтами за красоту свою.

Казалось бы: «Высоко над семьею гор» Казбек сиять не может.

Но что ж поделаешь: Дых-тау или Шхара — ничтожные имена перед Казбеком, так что хотя он и пониже их, но сиять приходится ему.

Не лучше обстоит дело и с реками Кавказа: какой же русский не знает быстроходный Терек и дорогую сердцу пленительную Арагву. Но не каждый знает, что Арагва это всего лишь незначитель-

ный стоверстный приток реки Куры, а последняя длиною тысяча двести пятьдесят верст, и уж, конечно, на таком протяжении есть места очаровательные, но Арагва и Кура!

Владислав Ходасевич, взглянув однажды на воспетую поэтами Бренту, начинает свои скептические стихи так:

Брента рыжая речонка...

Но здесь я, кажется, с вершины Казбека улетел в иные страны...

Кавказ омывают три моря: Каспийское, Азовское и Черное.

Шесть озер отражают сказочную природу Кавказа и восемь главных рек стремятся, по обточенным камням, к морю и утихают уже в Закавказье среди зеленых лугой и степей.

Грозный Терек отделял когда-то русских от горцев. Правый берег реки был населен чеченцами и назывался: Большая Чечня. По левому берегу с пятнадцатого века стали поселяться терские казаки.

У самой реки расположились красивые станицы. Опасаясь чеченцев, станицы эти отстояли друг от друга не более десяти верст.

Но Терек, упрямо защищая горцев, не пожелал принять незнакомых пришельцев и быстрыми волнами подтачивал левый берег. Оставив богатые

станицы, казаки ушли на Север. Остались только перешедшие Терек русские староверы. Поселились они на первом гребне начинающихся гор Кавказа.

Лиственный лес покрывал гребень, но чем выше, тем чаще сосны и ели примешивались к лиственным деревьям и постепенно лес становился хвойным, и, наконец, терялся среди утесов, уступая место вечным снегам вершин Кавказа.

Дикое и страшное место был этот гребень. Столетние дубы и чинары, сплошь обвитые диким виноградом, могучими ветвями тянулись к синему небу, которого человек за листовю их не видел вовсе.

Терновник и ежевика сплетались между деревьев, давая изредка место буйному молодняку.

Иногда, там, где когда-то бежала горная речка, виднелись непомерной высоты оставленные водою камыши. На сырой земле можно было легко отличить следы всякого зверья: волка, кабана, оленя и бесчисленных птиц. Но главным образом следы кавказского серебряного фазана.

Всегда немного стыдно стрелять в птицу царственной красоты, но на Кавказе только красота и нет ему название другого, как то, которое дал ему певец Кавказа Лермонтов: «суровый царь земли».

Казаки-староверы сумели не только подружиться, но и породниться с чеченцами. Сильные здоровые северные люди брали себе в жены гибких как

лианы, смуглых, чернооких черкешенок. Взгляд непроницаемых глаз этих женщин мог смутить и северного человека. Вот как пишет об этом взгляде черных глаз Лермонтов:

Я видел вас, холмы и нивы,
Природы дикой красоты,
Степей глухих народ счастливый
И нравы тихой простоты!
Но там, где Терек протекает,
Черкешенку я увидал,
Взор девы сердце приковал...
Так стон любви, страстей и муки
До гроба в памяти звучит.

Потомство гребенских казаков поражает своей красотой. Сохранилась статность и сила северного человека, но «эти черные глаза» остались у некоторых казачек. Быть может слова «чернобровая казачка» берут свое начало с пятнадцатого века.

Русское правительство не раз обращалось к староверам, увещевая перейти на левый берег Терека, видимо, опасаясь, что казаки распылятся среди многочисленных горцев.

Еще при Иоанне Грозном приезжали гонцы, уговаривая староверов перейти на левый берег, но опасения царей не оправдались. Гребенские казаки свято хранили свою веру и удивительно чистый русский язык. Гордость этих малограмотных людей порою удивляет.

Не в шутку говорю, мне дважды приходилось слышать, что «Христос крестился в Тереке, там, где вода потише»!

Русские люди остались русскими среди кавказских народов и племен. Об Армении и Грузии речь впереди, но племен этих один Аллах ведает сколько! Постараюсь перечислить главные: чеченцы, абхазцы, кабардинцы, ногайцы, лезгины, татары, туркмены, шапсуги, кумыки, калмыки, ингуши, курды, осетины и множество других племен...

Когда-то, еще не бывавши на Кавказе, в московской гимназии за это перечисление я получил единицу.

Учитель истории, Иван Иванович Чистосердов, был очень строг.

— За что же? — спросил я.

— За лезгинцев.

Действительно, в поспешности своей я сказал «лезгинцы». Но эта единица послужила мне для более подробного изучения Кавказа, и я благодарен ей.

Ныне в перечислении племен горцев на последнем месте я поставил «осетины». И вот почему:

Скакун лихой, ты господина
Из боя вынес как стрела,
Но злая пуля осетина
Его во мраке догнала...

В действительности, осетины это самый радуш-

ный, прекрасный народ. Сражаться за свою свободу не значит быть злым. Я знаю осетин. Да простит мне читатель, что для живости исторического изложения мне приходится прибегать к личным воспоминаниям.

Стихи свои я пишу ночью. Когда что-либо удалось, часов в пять утра иду к известному писателю-осетину. Стук в дверь, и через мгновение, осетин, накинув халат, встречает меня с приветливой улыбкой. А приветливость, по словам Алексея Михайловича Ремизова, — это самое главное в жизни.

Грузины тоже недолюбливают русского поэта: «бежали робкие грузины...» — «Где он видал робких грузин!» — говорят они.

Племени баши-бузуков на Кавказе больше нет. При имени их содрогаешься. Русские войска мстили за надругательство над армянским аулом. Об уничтожении баши-бузуков хорошо пишет в «Трех разговорах» Владимир Соловьев, благосклонно упоминая о моем прадеде, участнике мщения за армян. Русские мстят редко, но крепко.

Мне думается, что «покорения Кавказа» вовсе не было. Была священная война «газават». И не русские ее начали. Но об этом потом.

Если признать «покорение Кавказа» — то исторически правильно можно сказать, что оно началось с пятнадцатого века, т.е. поселения гребенских казаков. И путем мирным. Но когда, при Ни-

колае Павловиче, русские регулярные войска подошли к Тереку, произошло нечто странное. Терские казаки, жившие в мире и спокойствии и с мирными аулами чеченцев и породнившись с ними — встретили враждебно чуждых им солдат России.

Терские казаки, усвоившие нравы чеченцев, щеголявшие в чеченских одеждах и, мало того, говорившие свободно на татарском языке, — увидали русских солдат и с трудом признали из за своих.

Гребенской казак уважал больше чеченца, укравшего у него лошадь, чем русского офицера, прокурившего табаком его чистенький дом. Казак знал, что один из них пригонит лошадь многим лучшую, быть может кабардинца, отбитого у горцев. Такого казака называли героем и в станице он был первый человек.

Среди мирных аулов жили непримиримые враги русских — абреки. Для русских абрек — значит разбойник, даже для такого знатока Кавказа, как Лев Николаевич Толстой. Но по-татарски абрек значит — рыцарь! Нечто вроде японского самурая. А по-гребенски — герой. Тот же герой-казак, которого уважает вся станица.

Мирные аулы не нападали на русских и русские пытались иметь с ними добрососедские отношения. Многие из чеченцев переходили к русским, о чем свидетельствует воззвание Шамиля. Привожу выдержки:

Слышу я, что русские призывают вас к покорности и ласкают вас. Не верьте им и не покоряйтесь. Лучше умереть во вражде с русскими, чем жить с неверными!

Но перед тем, как говорить о газавате — священной войне, — хотя бы несколько слов о христианских народах: Армении и Грузии. Я знаю, как различны понятия русских об Армении. С улыбкой снисходительной многие скажут: «сборник анекдотов». Более серьезные люди: «нефть». Да, нефть, — «но не хлебом одним человек жив будет».

Армения не только страна, сохранившая во всей чистоте апостольскую церковь, но и страна, вложившая в сокровищницу всемирной культуры богатый ценный вклад.

Для любителей анекдотов, конечно, смешно: «Что такое? — снаружи шерсть внутри вата?» — «Баран смотрит на аптеку»! Но есть анекдотическая правда посерьезнее. У меня много друзей армян, среди них я имел честь быть другом профессора Карпа Сергеевича Агаджаньяна. Пришел ко мне приятель-художник и жаловался на какое-то психическое недомогание. Я послал его к Карпу Сергеевичу.

— Ну что у тебя? — спросил знаменитый профессор.

— Да вот, профессор, иду по улице и чувствую, что кто-то за мной следует. Я ускоряю шаг

и «он» тоже, тогда я бегу и «он» тоже за мною бежит...

Профессор посмотрел на молодого художника своим пронзительным взглядом черных глаз и спокойно сказал:

— Ну, кто за тобой бежит? Никто не бежит. Давай пятьсот франков и ступай с Богом.

Художник навсегда выздоровел. Так мудрый доктор мгновенно остановил болезнь, грозящую перейти в манию преследования.

В первом веке христианство в Армении проповедуется апостолом Фадеем, но только в третьем веке оно утверждено Святым Григорием, первым Патриархом всей Армении. Постоянная резиденция Патриархов Грегорианской церкви — Эчмиадзин в бывшей Эриванской губернии. Армяне празднуют основателя Грегорианской церкви 30 сентября.

К сожалению, христианство естественным путем своего развития уничтожило все памятники языческой Армении. Но уже в четвертом веке выработан армянским ученым Месробом алфавит, состоящий из 38 букв и приближающийся к алфавиту европейскому. Пятый и шестой век — Золотой Век армянской литературы. Эзниг и Ардзуни представители этой эпохи.

В двенадцатом веке армянская поэзия вновь оживает и во главе ее стоит Нарцесс Глайетзи.

Расскажу, как красиво кончается одна из многочисленных поэм армянской поэзии.

Ангел смерти пришел к любившим друг друга, вопреки воле родителей, молодым людям. В мире ином Ангел оставил девушку на чудесном берегу, а жениха ее на берегу пустынном и скупом. Глубокий ров отделял их. И Ангел сказал: «Вы вечно будете жить так и это будет вам ад». — «Нет, — ответила девушка, — я буду плакать слезами любви до тех пор, пока этот ров не наполнится слезами и любимый мой не переплывет ко мне».

Жаль, мало места, целую книгу нужно писать об Армении.

*

Но как говорить о Кавказе, умолчав о Грузии? Это невозможно.

Грузия или Георгия, а в древности Иверия — независимое государство до четвертого века. Принято считать грузин наиболее прекрасными представителями человеческого рода. Возможно, во всяком случае, народ этот строен и красив.

С четвертого века Грузия подпадает под влияние Византии и частично принимает христианство. Одиннадцатый век — начало расцвета Грузии при царе Давиде. Но Золотой Век искусства и главным образом литературы — двенадцатый век, при цар-

стве красавицы царицы Тамары. Оттуда, верно, и пошло: Тамара, да Тамара! И царица прекрасная и имя прекрасное. Но как и всегда, золотое время длится недолго. В тринадцатом веке счастливая Грузия завоевана монголами. Однако «робкие грузины» собственными силами освободились от монгольского ига.

Уже в восемнадцатом веке царь Георгий, беспрестанно сражаясь с персами, обратился к Павлу I, и с 1801 года Грузия соединилась с Россией и, сохранив самоуправление, вошла в состав Российской Империи. Все это было и чинно и мирно.

Но вот: необычайная война! Священная война! Газават!

Тяжело было восшествие на престол Николая Павловича. Какой-то поляк убил на площади добродушного русского генерала Милорадовича, героя Бородинского сражения. Князь Трубецкой на площадь совсем не вышел, говорил, что «жена не пустила». Муравьев-Апостол, в своем дневнике, писал: «Стоило мне сказать своим казакам: грабь и режь, — мы выиграли бы сражение. Но я не хотел делать революцию кровавыми руками!» Спрашивается — чего совался? Все это безобразие называлось «восстанием 14 декабря».

А тут еще газават!

В девятнадцатом столетии в Дагестане возникла новая секта мюридов. Секта возглавлялась имамом

— всесильным религиозным, политическим и военным руководителем. Цель этой секты (в основе которой является мусульманская религия) была борьба за полную независимость Кавказа. Эта борьба или война и называлась Газават. Первым имамом и основателем секты был некий Кази-мулла, Имам Чечни и Дагестана. Его приемник Гамзат-бек — второй имам и, наконец, третий, участник всех восстаний против русских, молодой Шамиль. Умный и хитрый воин. С тысяча восемьсот двадцать пятого года он не давал покоя русским.

В 59 году он все же был взят в плен князем Барятинским на горе Кунибе. После чего секта распалась и замирение Кавказа наконец завершилось. Двести тысяч воинственных черкесов ушли в Турцию.

Я хочу кончить словами «певца Кавказа», словами, как будто Лермонтов сказал их уже после смерти. Теперь. Сегодня.

Как я любил, Кавказ мой величавый,
Твоих сынов воинственные нравы,
Твоих небес прозрачную лазурь
И чудный вой мгновенных, громких бурь...



ПРИМЕЧАНИЯ

КОРЕНЬ ЗЛА

Когда упоминают имя Одарченко — невольная ассоциация: Бодлер и так называемые «проклятые поэты». Впрочем, это субъективно. Может, потому, что Юрий Одарченко был изгоем в среде «русского Монпарнаса» как в предвоенные годы, когда он уже писал, но сторонился каких бы то ни было литературных кругов, так и в послевоенное время, когда среди еще живых поэтов «парижской ноты», группировавшихся вокруг Г.Адамовича, по словам одного из них, «о нем говорить было как-то страшновато и почти неприлично».

По свидетельству Ю.Терапиано, в тридцатых годах «Юрий Одарченко категорически отказался участвовать в каких бы то ни было поэтических объединениях и не захотел ни с кем познакомиться».

Но после войны некоторые знакомства, видимо, все же состоялись, поскольку в альманахе «Орион» (единственный выпуск которого вышел в феврале 1947 года) участвовали И.Бунин, Б.Зайцев, А.Ремизов, Г.Иванов и другие достаточно известные поэты и прозаики. Редакторами альманаха были Юрий Одарченко, Владимир Смоленский и Анатолий Шайкевич.

В эти же годы Одарченко начинает публиковать стихи (в основном, в «Новом журнале») и прозу (в «Возрождении»), а в 1949 году выпускает свою первую и последнюю

книгу стихов «Денёк». Одни постарались не заметить нового поэта, другие были скандализированы этой книжкой.

Ассоциация с Бодлером у меня возникла не только и не столько, однако, из фактов биографических, сколько из самой сути поэзии Одарченко, из его грустной беспощадности и ядовитой доброты...

* * *

Бодлер назвал свою книгу «Цветы зла». Это было почти полтора века назад... Если у цветов предполагается наличие корней, то после Бодлера становится необходимым добраться до них. Обнаружить их, выставить на всеобщее обозрение, заставить каждого человека искать их в себе... Но как? Лирик имеет только одну возможность: обнажить свои собственные «корни зла» и тем заставить других тоже вглядеться в себя. Я далек от мысли, что Одарченко четко сформулировал для себя эту задачу, но он выполнил ее.

В русской литературе «цветами зла» была проза Н.В.Гоголя, и после нее неминуемо должна была появиться проза Ф.М.Достоевского, обнажавшая «корень зла» — то, что называл сам Достоевский «подпольем».

Вот так же, если следовать моей, может быть, сомнительной аналогии, должен был появиться в русской литературе XX века поэт, который начнет копаться в себе, распахивать ребра, показывать уже не бодлеровские цветы, а корни, поэт, который, идя на психологическое самоуничтожение, распахнет подполье своей души, за-

ставив тем самым заглянуть в себя и ужаснуться в той степени, в какой это доступно тому или иному из нас.

«Денёк» — какое идиллическое название, какая безоблачность, какие солнечные ассоциации! Но стоит раскрыть книжку — и не идиллия, а нечто совсем другое ожидает нас:

Я расставлю слова
В наилучшем и строгом порядке —
Это будут слова,
От которых бегут без оглядки.

То, от чего все тайно отмахиваются, делая вид, что э т о г о не бывает: в душе, может, и потемки, но конкретно увидеть, что в них прячется, мы ой как не хотим! Одарченко все называет по имени — вот и шарахаемся мы от его стихов.

...Может быть, но так много случайностей
В нашей жизни бывает за каждый денёк,
Что, увидевши розу душистую, чайную,
Я глазами ищу — где зловещий жучок?

Мы все боимся встретиться с самим собой. Одарченко это ощущение превратил для себя в реальный страх. Вплоть до того, что ненавидел зеркала и даже брился вслепую. Лишь бы не встретить самого себя. Лицом к лицу с собой — ведь это и вправду увидеть свое подполье. Поэтому никак нельзя ни иронию Одарченко, ни строки, кажущиеся злыми и смешными, отнести к области сатиры. Хотя бы потому, что сатира — ничто перед ужасом простого раскрытия темных глубин, о которых не хотим

мы знать. Одни — чтобы спокойнее жить, другие — чтобы вообще не умереть от ужаса и отвращения, заглянув в себя, назвав словами то, что в подполье...

Обостренное ощущение вселенской пошлости у Одарченко глубже и точнее, чем у его ровесников — обэриутов. Когда они приоткрывали нам изнанку души, кто-то возмущался, кто-то смеялся, словно к нему это не относилось. Одарченко же не дает возможности смеяться. Легким катарсисом его читатель не отделается: «слова, от которых бегут без оглядки», порой сковывают, лишая возможности бежать.

Вот начало стихотворения, от которого, как и от названия книги, ждешь чего-то идиллического:

Мальчик катит по дорожке
Легкое серсо,
В беленьких чулочках ножки,
Легкое серсо.

Сами по себе уменьшительные суффиксы (из двенадцати слов строфы они присутствуют в пяти, а остальные — предлоги да повтор «легкое серсо») уже чуть настораживают своей густотой. Вторая строфа — пейзаж, причем тавтология вместо рифмы, как и в первой строфе, ожидаемость слова, переходящая границы банальности:

Солнце сквозь листву густую
Золотит песок,
И бросает тень густую
Кто-то на песок.

Предельная детскость звучания вызывает у читателя благосклонную улыбку, и спокойно читает он дальше:

Мальчик смотрит, улыбаясь:
Ворон на суку.
А под ним висит качаясь
Кто-то на суку.

Вот оно и все, это стихотворение. Вспоминаются сюрреалистические шуточки в живописи Магритта, «от которых бегут без оглядки»... Но Одарченко не только со стороны изображает смешное, пошлое и страшное вместе, а открывает нам в символах наше подполье — от него-то и хочется бежать, а не от «слов в наилучшем порядке». А может такой порядок и есть, верно, наилучший?.. Проза или живопись все же более отстранённы, чем лирика, — в прозе автор и читатель видят всю мерзость персонажа, а сам персонаж — далеко не всегда, но вот в лирике персонаж и автор — одно и то же лицо! А в лучшей лирике — автор, персонаж и читатель едины, три лица в одной сути... Это во много раз беспощаднее — ведь не со стороны — исповедь чудовища! Зловещие строки, заабсурдный гоголевский ужас, и в меру ханжества своего каждый из нас ловит себя на порыве — заклеймить автора, породившего (разбудившего?) это чудовище! И потому-то благопристойно-элегичные пииты «парижской ноты» были возмущены стихами Одарченко. И «всяк решил» тогда, что «нет для него ничего святого».

Но попробуем пройти насквозь в глубину через пресловутое «подполье» — не найдется ли там еще один потайной этаж? Вот еще одна сюрреалистическая картинка — слоник идет по канату над океаном, «продолжая свой путь невозможный». Ну, а раз невозможный, раз это противоречит общепринятым понятиям, то рас-

порядимся сами, наведем порядок по-своему, ведь мы-то знаем, как должно, а как не должно!

... подрежем канат,
Обманув справедливого Бога.
Бог почил и архангелы спят...
«Ах, мой слоник! — туда и дорога!»
Все на небе так сладостно спит,
А за слоника кто же осудит?

И вдруг — ужас встречи с самим собой возникает неожиданно, словно труба, зовущая на Страшный Суд:

Только сердце твердит и твердит,
Что второе пришествие будет!

Одарченко словно рисует нам трехслойную схему человеческой психологии: в глубинах глубин — вера, совесть, духовность. Выше — слой всего мерзкого. Это и есть подполье. А совсем сверху — тонкая кора благопристойности, приличия, короче, все, что отблескивает лицемерием, которое мы так тщимся выдать за свою сущность, словно мы однородны насквозь. И, скрывая свое подполье от других, а что еще хуже — и от себя, делаем уж вовсе недоступными те глубины, где сохраняется святое...

Одарченко видит себя без верхнего слоя. Без приличной и лакированной коры. И вот — беспощадно о себе и обо всех:

Стоит на улице бедняк,
И это очень стыдно.
Я подаю ему медяк, —
И это тоже стыдно.

Тут описано реальное действие и ощущение его, а что же происходит в мыслях, то есть на самом деле? Дальше события принимают уже вовсе нереальную форму, но описанные действия — если считать, что происходят они в воображении человека, — выдают, раздевают, вытаскивают на свет то, что происходит в подполье:

Я плюнул в шапку бедняку,
А денежки растратил.
Наверно стыдно бедняку,
А мне — с какой же стати?

Поэт как бы хочет сказать нам, напомнить, что внешне мы поступаем так, как написано в первой строфе, а внутренне — в подполье своем — так, как рисует нам вторая строфа. И если это истинный наш образ, то ясно становится вполне обоснован горький и иронический вопрос в другом стихотворении Одарченко: «Так ли уж гордо звучит — Человек?». Ибо роковое чувство обреченности всего сущего одних толкает на растрату совести (хоть день, да мой), создавая из них вполне благопристойных циников, а других заставляет искать выход из безвыходности, метаться между бунтарством и молитвой.

А Одарченко? Он — и в том и в другом, но мир, увиденный столь беспощадно, мир, где слоника можно безнаказанно... И мечется поэт между надеждой на конечную справедливость абсолютного (второе пришествие) и безнадежностью, выраженной в интонациях разъедающей иронии:

В сырой земле так много мест
И это так прекрасно!

Человеческое чувство безнадежности выражено у поэта с предельной остротой. И если Ходасевич эту безнадежность доводил до логического конца спокойно, даже холодновато, то темперамент Одарченко кидает его в гротеск. И порой кажется, что вся его поэзия — некий отклик на известные слова Мефистофеля: «Я рад бы к черту провалиться, когда бы сам я не был черт».

Одарченко не был чертом, но и за ангела выдавать себя не хотел... Но в самоуничтожительном акте поэзии он назвал черта по имени и тем хоть чуть обезопасил.

* * *

Что касается прозы Ю.Одарченко, то говорить о ней труднее, поскольку тут почти нет завершенных вещей: кроме довольно слабого эссе «Дикий виноград», только рассказ «Ночное свидание» представляет собой цельное произведение. Уже из этого рассказа видно, что автора привлекали таинственные явления, которые находятся на грани между гоголевской фантастикой и тайнами непознанного (а может, и непознаваемого), но не отрицаемого наукой... В частности, интерес писателя к тому, что теперь называется парапсихологией, отмечают многие знавшие его лично.

Реальность, поданная подробной, негромкой, детально-реалистической прозой, сосуществует у Одарченко с таинственным миром, врывающимся в быт неожиданно, и так же необъяснимо и неожиданно исчезающим.

Как и в стихах, в прозе Одарченко заметен искренний ужас перед всем потусторонним, и столь же искренняя тяга к нему.

В конце прошлого века, как и в иные периоды роковых предчувствий, во всем мире ожил этот интерес, проявившийся двояко: с одной стороны, массовая мода на оккультные науки, ощупью искавшие рационального объяснения всему таинственному (достаточно вспомнить Блавацкую, теософов), с другой — неоромантизм как таковой, как течение чисто литературное, который вознес на своем знамени Эдгара Аллена По, возродившегося в облике Вилье де Лиль-Адана, Честертона, Хаггарда и еще многих известных и малоизвестных писателей в мире европейской культуры. Традиции Э.По и Э.Т.А.Гофмана стали возрождаться и в творчестве русских символистов. И естественно, что Гоголь никак не мог остаться в тени. Одарченко, начавший писать в конце тридцатых годов, а прозу свою создававший уже в пятидесятых, оказался запоздалым, но самым верным последователем автора «Пропавшей грамоты» и «Страшной мести». И несмотря на то, что главное произведение его, повесть «Детские страхи» существует лишь в отрывках, но, судя по ним, можно утверждать, что гоголевская чертовщина и гоголевская сочность в наш век снова вышли на сцену. Разумеется, невозможно ставить в один ряд Одарченко и Михаила Булгакова, но нечто общее между ними все же чувствуется.

«Детские страхи» поражают прежде всего тем, что во время чтения довольно долго кажется, что это произведение, подобное неторопливым повествованиям о безмятежном детстве, каких множество дал прошлый век: самый типичный пример — «Детство Тёмы» Гарина-Михайловского. Но вдруг... в этом вдруг и есть весь

Одарченко: как и в стихах своих, он вдруг выворачивает все, и таинственные, грозные силы вмешиваются в этот спокойный, чуть даже ленивый реализм. И чем розовее идиллия, тем более резким контрапунктом ей оказываются страхи, увы, далеко не детские...

Особое места занимает эссе «Истоки смеха». Это явно пролог (что отмечает сам автор) к большому произведению, вернее всего не сюжетному, которое, судя по существующим кускам, должно было стать одновременно и авторской исповедью и попыткой осмыслить становление человека как фактора космического бытия. В этом смысле слово «пролог» в подзаголовке можно понимать как обозначение того, что все дальнейшее (так и не написанное) есть попытка написать пролог истории человека вообще. Человек стал человеком не тогда, когда взял в руки камень или палку, а «тогда, когда первый раз рассмеялся». Автора занимает вопрос о соотношении инстинктивного и разумного. Уже в тех нескольких страницах, которыми мы располагаем, чувствуется полемика автора с плоским рационализмом, расцветшим столь пышно в тридцатых годах.

Конечно, не имея законченных произведений, трудно говорить о месте Юрия Одарченко среди современных ему прозаиков, но те отрывки, которыми мы располагаем, позволяют считать, что русская литература потеряла в его лице своеобразного и интересного писателя, а не только одного из самых ярких поэтов послевоенного времени.

В.Бетаки
Париж, 1983.

* * *

«Денёк» — единственная книга стихов Юрия Одарченко. На титуле ее значится: «Денёк. Сборник стихов. Париж, 1949». Книга состоит из сорока шести стихотворений, половина из которых была опубликована в периодической печати. Тираж сборника — 300 экз., «из коих 50 нумерованных от 1 до 50 на бумаге Arches» (как помечено на обороте титула).

Выход книги прошел малозамеченным, рецензий не было, если не считать краткого упоминания о поэте в статье Георгия Иванова об эмигрантской поэзии послевоенного периода («Возрождение» №10):

> Уже задолго до войны эмигрантская поэзия «стабилизировалась», на приток новых махнули рукой, стараясь сберечь то, что есть, и довольствуясь этим. Появление Ю.Одарченко, выступившего впервые в печати спустя три года после libération, отрадное, но как все исключения, лишь подтверждающее правило, — исключение...
>
> Стихи Ю.Одарченко — смелые и оригинальные, ни на кого не похожие, поразили и удивили: неизвестно откуда вдруг появился новый самобытный поэт.

Первая публикация Одарченко в альманахе «Орион» — глава из повести «Детские страхи» и одно стихотворением («Натюрморт», см. стр.61 наст. издания). Стихотворение опубликовано под «полупсевдонимом» — Сергей Одарченко, тогда как проза подписана Юрий Одарченко. Составители и редакторы «Ориона» — Ю.Одарченко, Владимир Смоленский и Анатолий Шайкевич. Кроме этого, до выхода «Денька» были опубликованы: рассказ «Папоротник» (отрывок из «Детских страхов», — «Возрождение» №2, Париж, 194?) и четыре стихотворения («Как прекрасны слова...», «Мальчик катит по дорожке...» — под названием «Ex libris», «Чистый сердцем», «Плакат», — «Новый журнал», №19, Нью-Йорк, 1948). Все четыре стихотворения вошли в «Денёк».

Чайная роза
стр.5

«Одарченко был исключительно сложной личностью. Он, как Гоголь — недаром он его так любил — жил в двух реальностях: обычной, знакомой всем нам, и другой, страшной, видимой лишь ему одному. И эта вторая реальность постепенно заслоняла первую и становилась для него главной и основной:

...Увидевши розу душистую, чайную,
Я глазами ищу — где зловещий жучок.

И он его не только искал, но и находил. Не из-за любопытства или озорства, но потому, что знал, что он, этот зловещий жучок, должен быть везде». (К.Померан-

цев. Вспоминая Юрия Павловича Одарченко. — «Р.М.», №3026, 1975).

«В стихотворении первом в "Деньке" "Чайная роза" Одарченко вводит читателя в круг своего восприятия земного мира». (Ю.Терапиано. Юрий Одарченко. — «Р.М.», 24.05.1975).

«Мальчик катит по дорожке...»
стр.6

Впервые — «Новый Журнал» (в дальнейшем — «Н.Ж.»...) №19, 1948.

В журнальном варианте вторая строка: «**Круглое** серсо» (в дальнейшем разночтения выделяются жирным шрифтом); предпоследний стих: «**И** под ним висит, качаясь...».

Плакат
стр.16

Впервые — «Н.Ж.» №19.

Чистый сердцем
стр.20

Впервые — «Н.Ж.» №19. В журнальном варианте: строка 10 — «Оступившись **нырнет** осторожный».

Это стихотворение — редкий пример чистого сюрреализма в русской поэзии.

«Дьявол, дьявол, сколько дашь?»
стр.23

В сохранившемся машинописном черновике ст.5: **«Словно у ребенка»**; ст.7: **«Душу у ребенка?»**; ст. 10: **«Поплавок**-душонка». В книге вместо «**детской** душонки» повсюду соответственно «**русская** душонка», что полностью меняет все стихотворение.

«Мышь без оглядки от кошки бежит...»
стр.28

Тут — полемика со словами Сатина из пьсы М.Горького «На дне»: «Человек — это звучит гордо». Как и во множестве стихов Одарченко, ирония едва прикрывает ужас перед неизбежностью.

«Подавайте самовар...»
стр.29

По стилю одно из наиболее близких к поэтике обэриутов. «Детскость» интонации делает особенно жуткой мысль о том, что человек не может ничего планировать заранее — даже за пять минут. Сходная мысль из современников Одарченко — у М.Булгакова: «...как же может управлять человек, если он не только лишен возможности составить какой-нибудь план хотя бы на смехотворно короткий срок, ну, лет, скажем, в тысячу, но не может ручаться даже за свой собственный завтрашний день?» (Мастер и Маргарита, гл.1).

«Прелесть, прелесть, тайна в ней...»
стр.42

В машинописном черновике стих 5: «Бог всесильный, ты внемли».

«Как прекрасны слова...»
стр.43

Стихотворение открывает подборку стихов Одарченко в «Н.Ж.» №19 (1948 год — т.е. вторую публикацию стихов поэта. Первая — «Натюрморт» в сб. «Орион»). Это стихотворение — программное для всего творчества поэта.

После выставки
стр.44

В машинописном черновике — без названия.

«Я на старых заезженных клячах...»
стр.51

Стихотворение, видимо, одно из ранних: бóльшая традиционность, нет еще того ужаса и парадоксальности, которые характерны для зрелого творчества поэта. В машинописном черновике — стих 2: «Уезжаю в зеленую даль».

«Печаль, печаль, которой нет названья...»
стр.57

Последнее стихотворение в «Деньке». Набрано курсивом. «Полный переворот всего того, о чем он говорил в земном плане, оно — как бы открытая дверь в иной, высший план» (Ю.Терапиано. — «Р.М.», 24.05.1975). «Свой единственный сборник стихов "Денёк" Одарченко заканчивает стихотворением далеко не лучшим, скорее даже слабым. Много раз мы с ним об этом говорили. Но каждый раз он защищал его с каким-то даже мистческим воодушевлением, словно говорил: "Куда всем вам понять, ведь в нем самое главное"... Не спасет мир и красота. Достоевский ошибся, миссия красоты — не спасать, а напоминать. Будем же ей благодарны хоть за это» (К.Померанцев. — «Р.М.», №3026, 1975).

НЕСОБРАННОЕ

Натюрморт
стр.61

Подписано С е р г е й Одарченко. «Орион», февраль 1947, Париж. Литературный альманах под редакцией Ю.Одарченко, В.Смоленского и А.Шайкевича. Тир. 700 экз., из коих 20 именных и 30 нумерованных. В Альманахе представлено большинство крупных поэтов, прозаиков и критиков эмиграции.

Название стихотворения напечатано «Натюр морт». Первая публикация Одарченко. Стихи его были известны

в литературных кругах еще до войны, но поэт, по свидетельству Ю.Терапиано «категорически отказался участвовать в каких бы то ни было поэтических объединениях» (Ю.Терапиано. — «Р.М.», 25.05.1975).

«Поздравляю всех молящихся...»
стр.63

«Н.Ж.» №27, 1951.

«Я недоволен медведями...»
стр.64

«Н.Ж.» №28, 1952. В черновике (машинописном, с карандашной авторской правкой и подписью карандашом же) четвертый стих: «И дремлю Лермонтова снами; шестой стих: «На небе **знак для** звездочета».

«Стали подниматься на ступени...»
стр.65

«Н.Ж.» №29, 1952.

«Ветхий, очень ветхий дом...»
стр.66

Там же.

«Стрелки бывают всякой масти...»
стр.67

Сборник «Опыты». Книга вторая. Нью-Йорк, 1953.

«В аптеке продается вата...»
стр.68

«Н.Ж.» №32, 1953. В порядке исключения это стихотворение публикуется здесь по машинописному экземпляру. Вариант, опубликованный в «Новом журнале», следующий:

В аптеке продается вата,
Одеколон и аспирин.
В аптеку входит бесноватый
И покупает апельсин.

Он **получает** по рецепту,
Прописанному Сатаной,
И, **заплативши** фармацевту,
Идет из лавочки ночной.

Луна сквозь облачную вату,
Мерцает в зеркале витрин.
И ест поспешно бесноватый
Свой ядовитый апельсин.

На примере этого стихотворения особенно видна и тяга поэта к сюрреалистическому видению мира, и, вместе с тем, его близость к обэриутам (объективизация субъективного: бесноватый не только просит апельсин, но и покупает его).

«На вокзале, где ждали пыхтя паровозы...»
стр.69

«Н.Ж.» №32, 1953.

«Идут поэт и попрошайка...»
стр.70

В машинописном черновике варианты: стих 2: **Красный мост** написан с большой буквы, в «Н.Ж.» — с маленькой. Стих 4: «И **приглашает** на погост». Стих 6: «он ходит в **рваном** пиджаке». Стих 7: «На попрошайке **только** тряпка». Стих 9: «От смерти **черные** перила». Стих 12: «предсмертный ужас **побороть**». В последнем стихе **Красный мост** опять с большой буквы. Считая, что это у автора имя собственное, мы восстанавливаем написание с большой буквы.

«На самом дне в зеленом жбане...»
стр.71

«Н.Ж.» №36, 1954. Стих «И с ними Дядька Чародей» — перифраз пушкинского: «И с ними Дядька Черномор».

«Стоят в аптеке два шара...»
стр.72

Там же. В машинописном черновике последняя строфа:

Блестит оранжевый **просвет**
На синей пелерине.
Блаженно выспался поэт
На каменной перине.

Два стеклянных шара – обычный атрибут парижских аптек в довоенное время.

«Скрылись бесы под плащем зеленым...»
стр.73

Там же.

«Как нежно ветер над полем стелется...»
стр.74

Там же.

«Это совсем не так, это гораздо проще...»
стр.75

«Н.Ж.» №39, 1954. Одно из немногих стихотворений Одарченко, написанных свободным стихом, но с сохранением рифмы.

«Жизнь исчисляют не годами...»
стр.76

«Н.Ж.» №40, 1955.

«Желтый Ангел пролетел по небу...»
стр.77

«Н.Ж.» №40, 1955. В машинописном черновике — ст.11: «В нищенских **дворах** замоскворечья».

«Вечеров литературных завсегдатаи!..»
стр.78

«Н.Ж.» №43, 1955. Обращено к поэтам круга Г.Адамовича (так называемая «Парижская нота»), к которым Одарченко относился с нескрываемой неприязнью.

«Луну волки съели...»
стр.79

«Н.Ж.» №45, 1956.

«С новым годом, инженеры рукомойников!..»
стр.80

«Н.Ж.» №49, 1957. Стихи написаны, вероятно, в марте 1953г. в связи со смертью И.Сталина.

Песнь о северном судаке
стр.81

«Н.Ж.» №102, 1971. Опубликовано через одиннадцать лет после смерти поэта.

«Основа жизни есть сомненье...»
стр.82

«Возрождение» №83. Париж, 1958.

«Есть в старости свое величье...»
стр.83

Там же.

«В перетопленных залах больницы...»
стр.84

«Возрождение» №90. Париж, 1959. В машинописном черновике варианты: стих 8: **«говорит — "духота". Это он, психиатр»**. Стих 14: «Улыбаясь **углом** папиросы своей». Стих 16: «Вероятно о спутн**ике. Правда ли.** Эй». И вся последняя строфа изменена:

> Но я вижу, **как Мамченко в маленькой** Каньи
> **Улыбаясь гуляет и** чайки летят.
> Эти русские, **право**, одно наказанье, —
> Говорит **властелин.** А больные кричат.

Мамченко Виктор Андреевич — эмигрантский поэт, друг Одарченко. Канья — гор.Канны на юге Франции.

«На палубе работают матросы...»
стр.85

Там же. Одарченко писал об этом стихотворении: «Ну вот тебе стихи отшлифованные. "Природа и люди"

/далее — стихотворение полностью/. Это я про Суэцкий канал. Ну прости, что надоел длинным письмом...» (Из письма К.Померанцеву. Без даты. Вероятно, 1958 г.).

«Сидят надменные вельможи...»
стр.86

«Возрождение» №90, Париж, 1959.

«Сгибаясь, смуглые девицы...»
стр.87

Там же.

«Я болен страшною болезнью...»
стр.88

Публикуется впервые. Машинописный экз. (архив К.Д.Померанцева). Последующие пять стихотворений: «Золотистый песок...», «Дух захватывает мне...», «Стихи теперешние плохи...», «Отчаяние чуждо мне...», «Я умираю бессловесно...» — там же.

Стихотворение «Я умираю бессловесно...» напечатано на адресном бланке.

ПРОЗА

Все прозаическое наследие Ю.П.Одарченко состоит из неоконченной, вернее, существующей в отрывках повести «Детские страхи», рассказа «Ночное свидание», эссе «Истоки смеха» и очерка «Дикий виноград». Проза Ю.Одарченко — явная (и, видимо, вполне удавшаяся) попытка неоромантической прозы, восходящей к Н.Гоголю (см. прим. к стихотворению «Чайная роза»).

Ночное свидание
стр.97

Впервые — «Возрождение» №67 (1956), стр.65-68. Рассказ, возможно, несет некоторые автобиографические черты. В образе Володи угадывается друг Ю.Одарченко — поэт Владимир Смоленский.

Псел
стр.106

Из повести «Детские страхи». Впервые — «Орион» (1947), стр.65-82. «Орион» был задуман, видимо, как периодическое издание, но вышел лишь один выпуск. Этим и объясняется, что в подзаголовке стоит просто слово «Повесть», а на стр.82 — «продолжение следует». Далее отрывки из этой повести автор публиковал в других изданиях. «Псёл» — первая глава этой неоконченной вещи.

Папоротник
стр.140

«Возрождение» №2 (1948), стр.32-51. Хотя это и не указано в журнале, рассказ представляет собой одну из глав повести «Детские страхи».

Рыжики
стр.181

Это даже не глава, а часть главы из повести, так же, как и следующий отрывок.

Оборотень
стр.197

«Возрождение» №83 (1958). По-видимому, последний из отрывков повести, так и не законченной. Судя по подзаголовку «отрывки», Ю.Одарченко намеревался публиковать и другие главы.

Истоки смеха
стр.205

«Возрождение» №69 (1957), стр.103-107. Подзаголовок «Пролог» свидетельствует о том, что это лишь часть большого эссе, задуманного автором, но, видимо, так и не написанного. Может быть, Одарченко предполагал

написать даже целую книгу, если учесть объемность и серьезность проблем, затронутых автором в «Прологе».

Дикий виноград
стр.216

«Возрождение» №59 (1956), стр.10-17.

СОДЕРЖАНИЕ

ACHEVÉ D'IMPRIMER
LE 27 MAI 1983
PAR L'IMPRIMERIE
DE LA MANUTENTION
A MAYENNE

N° 8302